

ОРГАНЪ РУССКОЙ РЕЛИГІОЗНОЙ МЫСЛИ.

подъ реданціей Н. А. БЕРДЯЕВА, при участіи Б. П. ВЫШЕСЛАВЦЕВА.

Въ предшествующихъ книжскахъ «Пути» были напечатаны статьи слюдующих авторовь: Н. Н. Аленсвева, П. Ф. Андерсона, Н. С. Арсеньева, М. Артемьева, П. Аршанво (Франція), Н. Афанасьева, С. С. Безобразова, Е. Беленсонъ, Н. А. Бердяева, П. Бицилли, Н. Бубнова, прот. С. Булгакова, Р. Вальтера, Б. П. Вышеславцева, Франка Гавена (Америка), М. Георгієвскаго, Н. Н. Глубоков-CKATO. Гофштеттера, В. Гриневичъ, Іеромонаха И. Жиллз, Л. А. Зандера, В. А. Зандера, Н. Зернова, В.В. Зъньковскаго, свящ. А. Ельчанинова, П. К. Иванова, Ю. Ивасека, В. Н. Ильина, А. Карпова, Л. П. Карсавина, А. Карташева, Н. А. Клепинина, С. Кавертца (Америка), К. Керна (Англія), Л. Козловскаго (†). (Польша), Г. Г. Кульмана, Т. Ц. Ку (Китай), М. Курдюмова, А. Лазарева, И. Лаговскаго, Ф. Либа (Базель), Н. О. Лосскаго, Ж. Маритена (Франція), Я. Меньшикова, П. И. Новгородцева (†), прот. Налимова (†), С. Олларда (Англія), А. Погодина, Р. Плетнева, А. М. Ремизова, Д. Ременко, Русскаго Инока (Россія), Ю. Сазоновой, графа А. Салтыкова-Сарафанова, Е. Сковцовой, И. Смолича, В. CHEPAHCKAго, Ө. А. Степуна, И. Стратонова, В. Сеземана, П. Тиллижа (Германія), Н. Тимашева, С. Троицкаго, кн. Г. Н. Трубецкаго (†,) Н. Тургеневой, Н. О. Феодорова (†), Г. П. Федотова, свящ) Г. В. Флоровскаго, С. Л. Франка, прот. С. Четверикова, Д. Чижевскаго, В. Эккерсдорфа, Г. Эренберга (Германія), свящ. Г. Цебрикова, Л. Шестова, кн. Д. Шаховского (теромонаха Іоанна), авбата Августина Якубизіака (Франція).

Адресь редакціи и конторы: ———— 10,BD. MONTPARNASSE, PARIS (XV).

Цтана 36-го номера: долл. 0,60. Подписная цена — въ годъ долл. 2,25 (6 книгъ). Подписка принимается въ конторе журнала.

Nº 36.

ДЕКАБРЬ 1932

N 36.

		•
	оглавленіе:	стр.
	осскій.— Магія и христіанскій культьердяевь.— Два пониманія христіанства (къ спорамь о	3
	аромъ и новомъ въ христанствъ)	17
3. C. Te	ссень. — Трагедія зла (философскій образь Ставрогина)	44
	арташевь. — Завъть Св. кн. Владиміра	
5. Іером	онахъ Левъ Жиллэ. — Въ поискахъ первоначальнаго ангельскаго преданія	
6. Нов Ке	ыя книги: H . $Bep\partial sees$. — Comte Hermann de eyserling. Meditations sud-americains; H . $Bep\partial sees$ H . A. Сетницкий. О конечномъ идеале; Γ . $\Phie\partial omoss$.	
Ire	enikon	89
Прило	оженіе: Б. Вышеславцевь. — ТРАГИЗМЪ ВОЗ-	
\mathbf{B}	ышеннаго и спекуляція на пониже-	
Ж	EHIE.	



МАГІЯ И ХРИСТІАНСКІЙ КУЛЬТЪ

Историки религіи, этнографы и другіе ученые согласно утверждають, что въ жизни примитивныхъ народовъ религія связана съ магіею. Леманнъ въ своей книгъ «Aberglaube und Zauberei von den altesten Zeiten an bis in die Gegenwart» (3 изд., 1925) даеть много свъдъній о магіи не только у первобытныхъ народовъ, но и въ составѣ сравнительно высоко развитыхъ религій, напр. у халдеевъ, грековъ, римлянъ. Фразеръ считаетъ въроятнымъ, что магія возникла раньше религіи; затъмъ религія на первыхъ ступеняхъ своего развитія сочетается и смъщивается съ магіею, когда человъкъ увъренъ, что можетъ покорить себъ боговъ съ помощью безличныхъ силъ посредствомъ опредѣленныхъ церемоній и манипуляцій; далѣе, на болъе высокой ступени развитія религія стремится къ умилостивленію боговъ и духовъ, къ примиренію съ ними и начинаетъ сознавать свою противоположность магіи; религіозные люди начинають осуждать всякое колдовство, волщебство, какъ нечестивыя дъянія. Однако среди необразованныхъ классовъ смѣшеніе религіи и магіи продолжаетъ существовать, говорить онъ, и въ наше время и приводить примъры потрясающихъ повърій, распространенныхъ среди французскихъ

крестьянъ (напр., месса Св. Духу, покоряющая Бога, месса Saint Secaire для наведенія порчи (*)

Эвелина Эндергиллъ (Underhill) въ своей цѣнной книгѣ «Mysticism» говоритъ, что въ христіанскомъ культѣ есть элементы магіи (символическія слова, ритмы, помазанія и т. п.), и относитъ ихъ къ «внѣщней» церкви, тогда какъ «внутренняя» церковь сосредоточивается на мистическомъ единеніи съ Богомъ (глава «Мистика и магія»). Многіе западно-европейскіе писатели говорятъ о православномъ культѣ, что онъ состоитъ изъ магически-символическихъ церемоній.

Вопросъ, не входитъ ли магія въ составъ христіанскаго культа, можно ставить и обсуждать осмысленно не иначе, какъ въ отнощеніи къ точно опредъленному понятію магіи, а не расплывчатому представленію о ней. Я въ своей статьъ буду придавать этому термину слъдующій смыслъ: магическое воздъйствіе существуетъ тамъ, гдъ воля одного существа покоряетъ себъ волю другого существа такъ, что превращаетъ его въ свое орудіє; магически воздъйствующій ставитъ цъли, а покоривщійся ему исполняетъ ихъ; сила покореннаго существа какъ бы сливается съ силою покорителя, отдается вполнъ въ его пользованіе, такъ какъ оформляется и управляется цълями и мыслью покорителя.

Такое ученіе о магіи я развиваю на основѣ персоналистическаго міропониманія, согласно которому всѣ существа обладаютъ волею или, на низщихъ ступеняхъ развитія, потенцією воли, а также на основѣ интуитивизма, утверждающаго тѣсную связь всѣхъ существъ другъ съ другомъ, благодаря которой «все имманентно всему», т. е. состоянія одного существа непосредственно, въ

^{*)} I.G. Frazer, the Golden Bough. A. Study in Magic and Religion I т. (3 изд.), 224-233.

подлинникъ созерцаются другими существами и становятся предметомъ симпатіи или антипатіи ихъ.

Воля и даже потенція воли каждаго существа свободна (*). Поэтому магически поработить себѣ какое либо существо можно лишь въ томъ случаѣ, если оно само, находясь въ состояніи упадка, отказывается отъ сопротивленія вслѣдствіе страха или подъ вліяніемъ соблазна. Отсюда слѣдуетъ, что магія въ отношеніи къ существамъ, обладающимъ нравственнымъ сознаніемъ, есть злое дѣло: она есть насиліе одной воли надъ другою, достигаемое путемъ использованія чужихъ слабостей.

Только въ томъ случаѣ магическое воздѣйствіе не есть зло, когда подчинившееся существо стоить на онтологически низшей ступени развитія, именно не обладаетъ нравственнымъ сознаніемъ; временно ставъ орудіемъ болѣе высокаго существа, оно пріобщается къ его болѣе сложной жизни и такимъ образомъ воспитывается имъ. Такъ, иногда на короткое время всадникъ и лощадь какъ бы превращаются въ одно существо (**); лошадь становится какъ бы частью тъла своего хозяина. Еще болъе явственно существуетъ такое отношение между человъческимъ я и органами его тъла. «Самая непосредственная магія», говорить Гегель, «это та, которую индивидуальный духъ проявляетъ въ отношеніи собственнаго своего тъла, превращая его въ подчиненнаго, покорнаго исполнителя своей воли (***). Такое магическое подчиненіе, обыкновенно, не есть насиліе; оно обусловлено огромнымъ онтологическимъ превосходствомъ одного существа надъ другимъ, въ силу чего низшее существо

*) См. мою книгу «Свобода воли», YMCA. 1927.

^{**)} См. W. Lutoslawski, Niesmiertelnose duszy, 1925.

***) См. Hegel, Encyklopädie, III. Тh., § 405; см. также о магіи въ моей книгъ «Основныя ученія психологіи съ точки эрънія волюнтаризма», гл. V, 2.

чрезвычайно выигрываеть, вступая въ потокъ жиз-

Въ отношеніи къ Богу и членамъ Царства Божія насиліе магическаго воздѣйствія, очевидно, никоимъ образомъ неосуществимо, но возможны нелѣпыя попытки практиковать магію и въ этомъ направленіи: Всякій такой замыселъ есть дѣло сугубо злое и кощунственное.

Многіе философы и ученые, исходя изъ основъ своего міровозэрѣнія, скажуть, что магія въ смыслѣ даннаго выше опредѣленія невозможна. Однако и они должны признать, что существують люди, допускающіе возможность такой магіи и пытающіеся практиковать ее, и что всякая попытка такого магическаго воздѣйствія, всякій замысель такой магіи есть дѣло злое. Поэтому моя статья сохраняеть смыслъ и для лицъ, отрицающихъ возможность магіи.

Леманнъ и Фразеръ даютъ иное опредѣленіе магіи, чѣмъ я. Но оба они, говоря о магіи въ религіи, вносять въ составъ этого понятія замыселъ покорить волю боговъ. Поэтому, по крайней мѣрѣ въ этомъ важнѣйшемъ для моей темы пунктѣ статья моя сохраняетъ значеніе и для послѣдователей Леманна и Фразера.

Возможно-ли, чтобы въ содержаніе самой возвыщенной религіи, въ составъ христіанскаго культа въ томъ видѣ, какъ онъ выработанъ православною и католическою церковью или протестантизмомъ, входила магія? Многія дѣйствія культа, многія церемоніи имѣютъ цѣлью создать условія, при которыхъ воля Божія проявилась бы иначе, чѣмъ если бы ихъ не было. Одного этого признака однако не достаточно, чтобы видѣть въ такихъ формахъ культа попытки магическаго воздѣйствія на Бога. Леманнъ говоритъ: «къ числу магическихъ принадлежатъ тѣ дѣйствія, посредствомъ которыхъ можно, какъ предполагаетъ человѣкъ,

осуществить принудительную силу надъ богами, тогда какъ дѣйствія, посредствомъ которыхъ надѣются только повліять на настроеніе боговъ, слѣдуетъ разсматривать, какъ подлинно культовыя» (стр. 12). Фразеръ особенно обращаетъ вниманіе на то, что высоко развитыя религіи не сливаются съ магіею, а, наоборотъ, вступаютъ во враждебное отнощеніе къ ней, считая нечестивымъ всякій замыселъ магическаго воздѣйствія на боговъ или Бога.

Въ особенности въ отношеніи къ христіанству стоитъ только на минуту задуматься надъ тъмъ, допустимо ли въ немъ магическое воздъйствіе на Бога, чтобы тотчасъ же и съ абсолютною рѣщимостью отвътить ръзко отрицательно. Во-первыхъ, христіанинъ признаетъ всемогущество Божіе, а вмъстъ съ тъмъ и невозможность какихъ бы то ни было принудительныхъ воздѣйствій на Hero, а также на ангеловъ и святыхъ, которые, принадлежа къ Царству Божію, живуть сполна усвоеніемъ Его воли и силы. Но этого мало, гораздо важнъе то, что Богъ есть само Добро, «сокровище благихъ», верщина всъхъ положительныхъ цънностей; поэтому Онъ есть предметъ любви и источникъ радости для всъхъ върующихъ въ Него христіанъ. Единственное правильное отношеніе къ Богу, воспитываемое Церковью, всею христіанскою литературою, особенно Отцами Церкви, и всею практикою святыхъ и мистиковъ есть любовь къ Богу, совершенная преданность Ему, стремленіе превратить свою волю въ орудіе веленій Его.

Церковь есть Тѣло Христово, и подлинный христіанинъ стремится быть органомъ этого Тѣла, послушнымъ своему Господину гораздо болѣе совершенно и безпрекословно, чѣмъ мышцы нашего тѣла слушаются нашей воли. Соотвѣтственно этому центральный моментъ культа для каждаго вѣрующаго есть пріобщеніе св. Таинъ и для всей

Церкви преложеніе хлѣба и вина въ Тѣло и Кровь Христову во время литургіи. Согласно ученію православной Церкви, это преложеніе соверщается во время молитвы священника, называемой эпиклезисъ. И по содержанію своему, и по соотвѣтствующимъ ему движеніямъ души священника эта молитва прямо противоположна всякому магическому заклинанію: въ ней нѣтъ и тѣни повелительнаго сосредоточенія воли священника на хлѣбѣ и винѣ или, что было бы еще страшнѣе, на Божественномъ мірѣ; священникъ только благоговѣйно «проситъ и молитъ» Бога о ниспосланіи Духа Святаго на дары и преложеніи ихъ Духомъ Святымъ.

Православная Церковь не ломаетъ голову надъвопросомъ о томъ, какимъ образомъ хлѣбъ и вино, не измѣнившись химически, становится Тѣломъ и Кровью Христа. Для человѣческаго ума это, безъ сомнѣнія, непостижимо, и воля священника здѣсь не при чемъ, но для Господа это, безъ сомнѣнія, есть не какая то сложная операція, а нѣчто абсолютно простое. Ва самомъ дѣлѣ, Хомяковъ остроумно замѣчаетъ, что Господь есть Господинъ стихій и вещество, не измѣнивъ своей физической субстанціи, можетъ стать Его Тѣломъ. По существу эту именно мысль развиваетъ обстоятельно от. С. Булгаковъ въ своей статьѣ «Евхаристическій догматъ» (*).

Также и пріобщающійся св. Таинъ переживаєть настроеніе, не имѣющее ничего общаго съ дѣятельностью мага: никакихъ напряженій воли, направленныхъ внѣ себя у него нѣтъ, есть только любовь ко Христу, преданіе себя въ Его руки и твердая воля хранить свое сердце въ чистотѣ, чтобы удостоиться общенія съ Богомъ.

^{*)} А.С.Хомяковъ. Нѣсколько словъ православнаго христіанина о западныхъ вѣроисповѣданіяхъ. По поводу одного окружного посланія Парижскаго архієпископа 1855. Собр. соч. ІІ т., стр. 131. От. С. Булгановъ, журн. «Путь», 1930.

Всѣ остальныя таинства совершаются съ тѣ-ми-же настроеніями, какъ и таинство Евхаристіи. Въ православной Церкви даже словесныя формулы ихъ (за исключеніемъ таинства покаянія) не даютъ основаній священнику выдвигать свое я и свою волю: священникъ говоритъ «крещается рабъ Божій», «вѣнчается».

Въ католической литературъ встръчаются иногда мивнія, преувеличивающія значеніе силы священника при исполненіи таинства. Такъ, Гейлеръ приводить слъдующую цитату изъ одной іезуитской книги: священникъ имъетъ власть «надъ неживою тварью и даже надъ самимъ Творцомъ, и притомъ тогда, когда захочетъ. Одно слово изъ его устъ принуждаетъ Творца вселенной и неба сойти на землю, снимаеть съ Него Его величіе и скрываетъ Его подъ видомъ хлѣба» (*). Никто, конечно, не станетъ утверждать, будто это грубо магическое пониманіе таинства, есть догматическое ученіе католической церкви. Такія частныя мнѣнія отдѣльныхъ лицъ слѣдуетъ отмѣчать для того, чтобы содъйствовать очищенію сознанія ихъ отъ случайно зарождающихся въ немъ кощунственныхъ представленій.

Молебны о здравіи, за упокой, о ниспосланіи дождя и т. п., церковныя церемоніи, вродѣ водосвятія, всѣ соверщаются такъ, что ни священникъ, ни молящіеся не напрягають своей воли во внѣ, чтобы покорить себѣ природу или Божественныя силы: воля молящихся направляется внутрь, на себя, чтобы очистить себя отъ грѣха и всякаго порока и такимъ образомъ стать достойнымъ милости Божіей, а къ Богу вѣрующій обращается только со смиренною мольбою объ исполненіи

^{*)} F. Heiler. Der Katholizismus, seine Idee und seine Erscheinung. München, Verlag von E. Reinhardt, 1923, стр. 226; цитаты изъкниги Karl Haggeney, S. I. Im. Heerbann des Priesterkönigs. Der wahre Melhisedech Freib. 1916, Bd. II, s. 35.

просимаго и совершенною преданностью волѣ Его, напередъ признавая, что просьба наша, можетъ быть, неразумна и не заслуживаетъ исполненія.

Стоить только вспомнить яркое, художественное воплощение поведения мага, напр. игру Шаляпина въ оперѣ «Фаустъ», чтобы живо отдать себъ отчетъ въ томъ, до какой степени поведеніе участниковъ христіанскаго культа противоположно магіи, колдовству, волщебству и т. п. Когда Шаляпинъ, изображая Мефистофеля, заклинаетъ розы, такъ что они вянутъ въ моментъ прикосновенія къ нимъ Зибеля, зритель какъ бы чувственно воспринимаетъ излучающуюся изъ пальцевъ его напряженной руки силу, направленную на розы. На обложкахъ американскихъ книгъ, объщающихъ научить успъху въ жизни, бываетъ помъщено изображеніе лица съ сосредоточеннымъ взоромъ и волевымъ напряженіемъ, излучающимъ силу, способную покорить себѣ всѣ внѣшнія препятствія. Не кроткое сіяніе лика Спасителя, а образъ хищника служить путеводною звыздою тыхь, кто обращается къ такимъ книгамъ. Христіанину претить этоть путь внёщняго успёха.

Только въ случать борьбы съ духомъ зла (экзорцисмы) необходимо въ культовыхъ дтиствіяхъ напряженіе воли, направленное во внтиній міръ, но и оно лишь внтинимъ образомъ напоминаетъ магію. Молитва «да воскреснетъ Богъ и расточатся врази Его», сопутствуемая крестнымъ знаменіемъ, произносится съ намтреніемъ отогнать злую силу. Обыкновенный смертный стремится при этомъ лишь удалить злого духа, а вовсе не покорить его себть и использовать его силу для достиженія ка-

кихъ либо цълей.

Все сказанное до сихъ поръ можетъ быть понято, какъ подтверждение мысли, что католический и православный культъ состоитъ изъ магическихъ церемоній: стремленіе участниковъ таинства от-

дать свою волю въ руки Божіи и сдѣлать себя орудіемъ исполненія Его веленій, можно истолковать, какъ отказъ субъекта отъ нечестиваго притязанія магически покорить себѣ Бога, но въ тоже время какъ желаніе его стать объектомъ магическихъ воздъйствій на него Бога. Въ протестантской энциклопедіи «Die Religion in Geschichte und Gegenwart» въ статъв «Католицизмъ» сказано, что католическія таинства становятся магическими, такъ какъ предполагается, что благодать дъйствуетъ ex opere operato (въ силу простого факта совершенія таинства независимо отъ личности священника, т. е. на ex opere operantis), лищь бы человъкъ не противодъйствовалъ ей. Иными словакатолику и православному приписывается здъсь такое понимание таинства, напр. Евхаристи: положимъ, зная за собою гръховное направленіе воли, напр. честолюбивую завистливость или сексуальную похотливость, человъкъ приступаетъ послѣ исповъди и покаянія, къ принятію св. Таинъ; онъ переживаетъ при этомъ только то слабое желаніе избавиться отъ своихъ пороковъ, которое естественно возникаетъ при обстановкъ, возвыщающей душу, но разлетается, какъ дымъ, при малъйшемъ испытаніи, т. е. при столкновеніи съ соблазномъ; тъмъ не менъе онъ надъется, что благодать таинства выжжеть въ немъ порочную волю и преобравить его. Возможно, что есть лица, приписывающіе таинству такую магическую силу и надъющіеся на возможность такого легкаго пути совершенствованія, не требующаго тяжелой, иногда героической борьбы съ собою и мощныхъ усилій самопреодолѣнія въ минуты соблазна. Ясно однако, что Церковь не такъ понимаетъ значение таинствъ и не допускаетъ, чтобы Богъ магически распоряжался волею человъка, а также не утверждаетъ нелъпой противоръчивой мысли, будто Богъ чудесно претворяетъ порочное я и превращаетъ его въ до-

бродътельное. Мысль эта нелъпа потому, что быть добрымъ въ нравственномъ смыслѣ можетъ только такое существо, которое предпочитаеть добрый поступокъ дурному свободно, по собственному выбору, т. е. не вынуждаемое ни внъшней причиною, ни собственнымъ характеромъ въ его данной отъ Бога, сотворенной Богомъ сущности. Быть или върнъе стать добродътельнымъ можетъ лишь существо, надъленное при твореніи его Богомъ творчески активною сверхкачественною свободною силою и самостоятельно вырабатывающее свои качества, т. е. свой добрый или порочный характеръ. Если бы можно было сотворить существо съ такою дущевною природою, что оно навърное было бы добродътельнымъ, то это означало бы, что возможенъ автоматъ добродътели; такъ какъ это нелъпо противоръчивое понятіе, то твореніе такого существа невозможно даже и для Божественнаго всемогущества. Въ противномъ случаѣ Богъ сотворилъ бы міръ, который состояль бы изъ совершенно добродътельныхъ существъ, міръ, въ которомъ не было бы зла.

И православные и католики утверждають свободу воли человъка. Особенно въ современной православной философіи подчеркивается мысль, что Богь сотвориль человъка, какъ существо, надъленное способностью къ свободной творческой дъятельности, что Богу человъкъ нуженъ не какъ рабъ, а какъ другъ, съ любовью свободно обращающійся къ Нему, входящій «въ живой совъть» съ Нимъ (Вл. Соловьевъ) и свободно продолжающій творческую дъятельность Его. Христіанство въ этой философіи обрисовывается, какъ религія любви и, слъдовательно, какъ религія свободы (*).

^{*)} См. напр., труды Вл. Соловьева, книги кн. Е. Н. Трубецкого «Міровозгрѣніе Вл. Соловьева» и «Смыслъ жизни», П. Флоренскаго «Столпъ и утвержденіе истины», от. С. Булгакова «Свѣтъ невечерній», Бердяева «Философія свободнаго духа» и «Назначеніе

Магическое покореніе воли одного существа другимъ всегда есть насиліе, такъ какъ оно постигается путемъ использованія рабскаго страха или другихъ порочныхъ слабостей существа. Прямо противоположный характеръ имъетъ мистическое единеніе души съ Богомъ: оно основано на безкорыстной любви къ Богу, какъ самому Добру, Истинъ и Красотъ, оно сопутствуется сознаніемъ того, что Богъ, какъ сказалъ св. Іоаннъ Бонавентура, есть Свѣтъ, «болѣе близкій къ дущѣ, чѣмъ она сама къ себъ»; свободная отдача своей воли Творцу есть для твари не утрата себя, а, наобороть, впервые полная реализація своей идеи въ блескѣ и славѣ ея, индивидуальное, т. е. незамѣнимое и неповторимое осуществленіе подобія Божія въ тварномъ міръ. Для достиженія этой цъли великіе святые, Францискъ Ассизскій, Сузо, св. Тереза, Іоаннъ Креста, Сергій Радонежскій, Серафимъ Саровскій и др. совершали многол'єтніе героическіе подвиги борьбы своей воли, чувства и ума противъ малъйшей тъни порока въ себъ (утонченное изображеніе трудностей этой борьбы съ собою см. въ замѣчательной книгѣ «Невидимая брань»), прибъгая въ то-же время постоянно къ благодатной помощи таинства Евхаристіи. Всякій православный и католикъ, живущій религіозными интересами, а не числящійся только номинально въ спискахъ своего прихода, знаетъ, что если для великихъ святыхъ путь восхожденія къ Богу, несмотря на помощь таинства, безконечно трудень, то тъмъ болѣе онъ труденъ для рядового христіанина. Думать, будто таинства суть, по ученію Церкви и живыхъ членовъ ея, легкій, внѣщній путь для достиженія соверщенства, можеть только тоть, кто

человѣка», Франка «Духовныя основы общества», Вышеславцева «Этика преображеннаго Эроса», Лосскаго «Свобода воли» и «Цѣн-ность и бытіе. Богъ и Царство Божіе какъ основа цѣнностей».

стоить далеко оть религіознаго опыта православія и католичества.

Въ чемъ же заключается благодатное и чудесное дъйствіе таинства Евхаристіи, если, кромъ него, необходима героическая борьба воли върующаго съ своими гръховными склонностямт? Не достаточно ли одной этой внутренней работы человъка надъ усовершенствованіемъ себя? — Нътъ, не достаточно. — Совершенство конечнаго существа достигается путемъ спайки его съ безконечною полнотою жизни и абсолютнымъ совершенствомъ Господа Бога; оно состоитъ не въ пассивной отдачь своей силы Богу, а въ творческомъ дъя-тельномъ соучастіи въ Божественной жизни. Это возможно лишь постольку, поскольку со стороны человъка происходить очищение сердца отъ всего, что недостойно встръчи съ Богомъ, а со стороны Бога откровение Себя человъку, все полнъе и полнъе намъчающее конечную цъль его дъятельности; эта постепенная спайка силы человъка съ Божественнымъ Логосомъ осуществляется во время поворотныхъ, важныхъ моментовъ жизни человъка и творитъ изъ него щагъ за щагомъ новое преображенное существо безъ насилія надъ его свободою, безь причиннаго воздъйствія Бога на человъка извнъ: Тотъ, Кто «трости надломленной не переломить и льна курящагося не угасить» (Ис., 42, 3), не умаляеть свободы твари, содъйствуя своимъ присутствіемъ возвышенію ея. Религіозный опытъ христіанина говорить ему, что пріобщаясь Тѣла и Крови Христовой, какъ членъ Церкви, которая сама есть тоже Тѣло Христа, и переживая при этомъ особенный, ни съ чѣмъ не сравнимый подъемъ духа, онъ дъйствительно удостаивается того мистическаго единенія съ Богомъ, которое содъйствуетъ преображенію души. При такомъ пониманіи таинства, какъ преображенія челов вка безъ нарушенія его свободы, отпадають основанія утверждать, будто христіанство, будучи религіею искупленія, вступаеть въ непримиримый конфликть съ нравственностью, какъ это говорить Н. Гартманнъ въ своей «Этикъ». Даже таинство крещенія, соверщаемое надъ непонимающимъ его младенцемъ, можетъ быть разсматриваемо, какъ присутствіе просвъщающей душу благодати, которая затъмъ постепенно свободно усваивается или отвергается новымъ членомъ Церкви по мъръ развитія его души.

Конечно, таинственное преображеніе дущи можеть происходить и помимо церковныхъ таинствъ. Но Церковь, пользуясь многовѣковымъ опытомъ соборнаго разума, близкаго душѣ каждаго вѣрующаго, выработала въ таинствахъ особенно могущественныя средства возвышенія души и потому отвергнуть таинства въ надеждѣ достигнуть цѣли какими либо другими способами есть, по меньшей

мъръ, чрезмърная самонадъянность.

Во избъжаніе недоразумъній слъдуеть замътить, что невмѣщательство Бога силою даже и въ дъйствія злыхъ людей, вовсе не даетъ намъ, людямъ, права подражать Богу и проповъдывать непротивленіе злу силою. Совершивъ грѣхъ отпаденія отъ Бога и находясь поэтому внѣ Царствія Божія, мы далеки отъ той красоты и полноты совершенства, которая однимъ своимъ присутствіемъ потрясаеть душу даже и злого существа и лищаеть его спокойствія, когда оно вступаеть на путь зла. Драма нашей нравственной жизни, приниженной грѣхомъ, состоитъ въ томъ, что мы обязаны бороться со зломъ даже и тогда, когда единственное средство, имфющееся у насъ обуздать зло, есть сила. Мы сами обрекли себя на жизнь въ такомъ царствъ бытія, гдѣ даже реализація абсолютныхъ цѣнностей не имъетъ характера чистаго добра (*).

^{*)} См. объ этомъ драматизмѣ мою книгу «Цѣнность и бытіе. Богъ и Царство Божіе какъ основа цѣнностей», гл. III, 7. О томъ,

Богъ есть Любовь, но есть у Него и другой ликъ — страшный «Огнь поядающій». Какъ это возможно? какъ согласить это со всѣмъ сказаннымъ выше? Очень просто: Богъ не участвуетъ въ злѣ и этого достаточно, чтобы зло было обречено въ конечномъ итогѣ на гибель. Богооставленность злого существа, которое само отвернулось отъ Бога и Его Добра, ведетъ его къ неизбѣжному распаду, къ предѣлу ничтожества и крайнему страданію, съѣдающему жизнъ.

Н. Лосскій.

какъ мало добра въ земномъ добрѣ, см. подробно въ книгѣ Бердяева «Назначеніе человѣка». О противленіи злу силою см. В. Соловьева «Три разговора», книгу И. А. Ильина, статью Б. Вышеславцева «Трагическая теодицея», «Путь», январь, 1928 г., № 9.

два пониманія христіанства

(Къ спорамъ о старомъ и новомъ въ христіанствѣ).

I.

Два пониманія христіанства, которыя условможно назвать консервативнымъ и творческимъ, различаются между собой прежде всего тъмъ, что одно признаетъ религіозный субъектъ неизмъннымъ, другое же признаетъ его измъняющимся, для одного религіозный субъекть пассивенъ, для другого же онъ активенъ (*). Съ этимъ связана основная проблема философіи религіи. Ссылка консерваторовъ на абсолютность и неизмѣнность откровенія, т. е. того, что исходить отъ религіознаго объекта, неубъдительна потому, что откровеніе двучленно и предполагаеть не только религіозный объекть, который открывается, но и религіозный субъекть, которому открывается. Откровеніе есть также событіе внутри человѣка, духовный опыть. И воть религіозный субъекть можеть имъть разный опыть, разный объемъ соз-

^{*)} Выраженія «религіозный субъекть» и «религіозный объекть» я употребляю въ относительномъ и условномъ смыслѣ. На большей глубинѣ Богъ не есть объекть и не принадлежить къ объективированному міру.

нанія, разную зависимость отъ времени, отъ соціальныхъ вліяній, отъ коллективныхъ представленій, разную очищенность и одухотворенность. Откровеніе не можеть автоматически и механически дъйствовать на человъка, независимо отъ того, каковъ онъ. Откровеніе измѣняетъ человѣка, но оно и измѣняется человѣкомъ. Человѣкъ активенъ въ воспріятіи откровенія. Христіанство исключительно консервативное, сознающее себя един ственно ортодоксальнымъ, принуждено отрицать измѣняемость и активность религіознаго субъекта, ограниченность и часто замутненность откровенія субъектомъ его воспринпимающимъ. Религіозный субъекть со средне-нормальной структурой своего сознанія признается неизмѣннымъ. Особенно настаиваеть на этомъ томизмъ со своей философіей здраваго смысла. Ученіе о неизм'єняемости религіознаго субъекта, о существованіи въчнаго естественнаго порядка взято тутъ у Аристотеля. То, что называютъ неопредъленнымъ и двусмысленнымъ словомъ «модернизмъ», есть ничто иное, какъ признаніе измѣняемости религіознаго субъекта. При этомъ измѣняемость эту совсѣмъ не нужно непремѣнно понимать, какъ эволюцію. Но этимъ раскрывается путь для исторической критики, для соціологическаго или психоаналитическаго объясненія многаго, чему раньще придавалось абсолютное религіозное значеніе. Существованіе идеальной «ортодоксіи», вполнъ объективной и независимой отъ субъекта, есть иллюзія, — она основана на въръ въ неизмѣнность человѣческой природы, воспринимающей откровеніе, на въръ въ то, что религія, основанная на откровеніи, не бываетъ искажаема и ущемляема вліяніями и воздъйствіями, исходящими не отъ религіознаго объекта, не отъ Бога, а отъ общества, отъ соціальной обыденности. Въ дъйствительности религіозный субъекть нуждается въ постоянномъ очищеніи, не личнымъ только, но и соціальномъ, въ углубленіи, одухотвореніи, освобожденіи отъ соціальныхъ внушеній, искажающихъ и ограничивающихъ откровеніе, отъ подсознательныхъ влеченій сексуальныхъ и особенно влеченій къ власти. Консервативная ортодоксія совсѣлъ не отдаеть себѣ отчета въ соціологически выясненной роли коллективныхъ представленій въ религіозной жизни. Когда я читалъ послъднюю книгу Бергсона «Les deux sources de la morale et de la religion», то былъ пораженъ сходствомъ того, что онъ говорить о двухъ источникахъ морали и религіи съ тѣмъ, что я говорилъ въ своей книгъ «О назначеніи человъка». И это не смотря на коренное различіе нашихъ міросозерцаній. Безспорно религія им'єть два источника - соціальный или, какъ я говориль въ своей книгъ, соціальную обыденность и откровеніе, оригинальную интуицію, въ которой происходить прикосновеніе къ тайнѣ бытія. Въ религіозной жизни человъческихъ обществъ отражается соціологическая зависимость религіознаго субъекта. Въ религіозномъ сознаніи отпечатлѣваются соціальныя отношенія людей, отношенія господства и подчиненія, инстинкты тиранства, по немъ можно изучать пережитую религіознымъ субъектомъ зависимость, рабство, страхъ, аффектъ мести, играющій такую роль съ первобытныхъ временъ. Тутъ есть частичная правда у Маркса, у Дюркгейма, у Леви-Брюля и соціологической школы, а также у Фрейда и Юнга и школы психоаналитической. Соціологія права, указывая на соціальную зависимость и соціальную обусловленность религіозных в в рованій и учрежденій. Признаніе этой истины можетъ имъть очищающее и освобождающее для христіанства значеніе. Такъ освобождается сознаніе отъ абсолютизаціи относительнаго, отъ искаженія религіознаго объекта религіознымъ субъектомъ. Такое освобождающее и очищающее значеніе для христіанства

имъетъ и историческая критика, критика Библіи. Но соціологи и историки обыкновенно не видять и не хотять знать другихъ источниковъ въры и религіозной жизни, не видять самаго главнаго. Безчеловъчность религіознаго субъекта, съ его древними подсознательными инстинктами, т. е. нераскрытость въ немъ болѣе частой стихіи человѣчности, замутненность соціальнымь рабствомь, аффектомъ страха и мести, отражается въ безчеловъчномъ пониманіи религіознаго объекта, въ низменномъ антропоморфизмѣ понятій о Богѣ. Такъ только и можно понять смыслъ многихъ соблазнительныхъ и оскорбительныхъ представленій о Богѣ въ Библіи. Непониманіе этого породило ложное ученіе Маркіона и гностиковъ, за которыми скрыто было справедливое негодованіе. Очеловъченіе же религіознаго субъекта ведетъ и къ очеловъченіи религіознаго объекта. Это основной религіозный процессь въ мірѣ. Религіозный смыслъ этого процесса не въ томъ, конечно, что Богъ дѣлается болѣе человѣчнымъ и одухотвореннымъ вслѣдствіи того, что человъкъ сталъ болъе человъчнымъ и одухотвореннымъ, а въ томъ, что незримое дъйствіе Бога на человъка дълаетъ его болъе человъчнымъ и одухотвореннымъ и это дѣлаетъ возможнымъ и и иное понятіе о Богъ, менъе зависящее отъ дурныхъ, примордіальныхъ аффектовъ и эмоцій падшаго человъка, отъ рабскихъ соціальныхъ отношеній, въ которыя погружена человъческая жизнь.

Консервативная ортодоксія отрицаеть эту зависимость религіозной жизни отъ соціальной обыденности, отъ земныхъ соціальныхъ отношеній господства и подчиненія, отъ коллективнаго подсознательнаго, отъ родовыхъ инстинктовъ. Ей представляется священнымъ то, что имѣетъ чисто соціальное, а не религіозное происхожденіе, коренится въ коллективномъ безсознательномъ. Она готова видѣть теофанію тамъ, гдѣ въ дѣйствитель-

ности дъйствують инстинкты властолюбія и экономическіе интересы. Церковь есть не только мистическое тѣло Христово, церковь есть также соціальный институть, она принуждена жить и дѣйствовать въ соціальной обыденности. И въ этой своей соціальной сторонъ церковь подвергается коллективнымъ соціальнымъ воздѣйствіямъ, приспособляется къ соціальной средѣ. Религіозный субъектъ, живущій въ церкви, есть также соціальный человъкъ, руководимый классовыми, національными и пр. инстинктами и интересами. Поэтому религіозный субъекть, какъ человѣкъ соціальный, дѣлаетъ церковь орудіемъ своихъ вож-дѣленій, своего сословія, класса, націи, расы. Церковь была постоянно примъщана къ политической и національной борьбъ. Религіозный субъекть можеть быть объять обскурантизмомь, можеть находиться на очень низкомъ уровнъ просвътленія сознанія. Личная аскеза, личное духовное очищеніе не помогаеть, когда рѣчь идеть о соціальномъ и интеллектуальномъ обскурантизмъ, о коллективномъ подсознательномъ. Еп. Өеофанъ Затворникъ быль аскетомъ, стремился къ святости, шель личнымъ путемъ духовнаго очищенія, но это не помъшало ему быть обскурантомъ въ соціальной морали, принадлежать къ очень невысокому типу интеллектуальной культуры. Совершенно невозможно понять соблазнительность и мучительность церковной исторіи, если не дать себъ яснаго отчета въ томъ, что церковь, какъ институтъ и какъ бытъ, есть соціологическій феномень и несеть по себъ печать ограниченности и относительности всъхъ соціологическихъ феноменовъ. Духъ прорывается въ соціологическую эмпирію церкви, но всегда бываеть ущемлень и умалень. Но гораздо важнъе еще соціологическое давленіе на самое догматическое сознаніе. Соціальная символика въ религіозной жизни и религіозной мысли соверщенно явственна

и въ ней сильнъе отражается соціальная дъйствительность, чемь действительносить духовная. Самыя понятія оБогь, объ отношеніи Бога и человька, объ искупленіи несуть по себѣ печать родовой соціальной жизни, родовыхъ соціальныхъ отношеній, вплоть до родовыхъ понятій о мести, отразившихся на ученіи объ искупленіи. Также полны религіозное мышленіе и религіозная жизнь сексуальной символики. Воинствующій атеизмъ въ своей антирелигіозной пропаганд в чрезвычайно использоваль эти стороны религіознаго мышленія. И всякая попытка консервативной религіозной ортодоксій отразить эту соціальную обусловленность и соціальную относительность всякой исторической религіи укрѣпляеть позицію антирелигіозную и атеистическую. Пророческая сторона религіи освобождаеть оть этой соціологической обусловленности и зависимости и въ этомъ очистительное значеніе пророчества. Пророчество возстаеть противъ власти соціальнаго коллектива, выражающагося по преимуществу въ жречествъ и сакраментализмъ, во имя духа. Смыслъ пророчества въ томъ, что оно означаетъ разрывъ родовой сращенности и скръпленности откровенія и прорыва изъ міра духовнаго съ соціологическими вліяніями и соціологической зависимостью религіознаго субъекта. Пророкъ есть человъкъ одержимый духомъ, а не внущеніями соціальной среды. Пророкъ возвыщается надъ коллективными представленіями. Потому только онъ и можеть призывать къ соціальной правдъ. Тутъ основной конфликтъ религіозной жизни челов в чества. Оригинальная религіозная совъсть, оригинальная интуиція, оригинальный духовный опыть есть прорывъ къ первоисточнику, есть стояніе передъ Богомъ, передъ тайной бытія безъ соціальнаго опосредствованія. Подъ оригинальностью тутъ нужно понимать не то, что не походить ни на что у другихъ, а то,

къ первоисточнику, къ изначальному происхожденію, что примордіально (*). Невозможно отрицать, что религіозная жизнь огромной массы человъчества въ значительной степени опредъляется соціальными внущеніями, наслъдственностью, воспитаніемь, привычкой, національными, сословно-классовыми и семейными впечатлъніями, т. е. коренятся въ коллективномъ безсознательномъ. Человъкъ бываетъ магометаниномъ или буддистомъ, православнымъ или католикомъ, лютераниномъ или кальвинистомъ въ зависимости оть того, въ какой странъ, національности или семь в онъ родился. Это нисколько не ръшаетъ и даже не ставитъ вопроса объ истинъ въроисповъданія, но это обнаруживаеть соціологическую зависимость религіознаго субъекта. Его в ра слищкомъ часто объясняется соціологической зависимостью, она не оказывается чистымъ стояніемъ религіознаго субъекта передъ религіознымъ объектомъ. Также зависитъ онъ отъ времени, отъ эпохи.

Откровеніе религіознаго объекта религіозный субъектъ постигаетъ и выражаетъ лишь символическимъ языкомъ и символику онъ беретъ изъ этоміра, обычно изъродовой соціальной жизни. Въ христіанствъ есть два преобладающихъ типа символики — символика юридическая, уже прямо взятая изъ соціальныхъ отношеній, и символика біологическая, взятая изъ жизни растительной. Когда мыслять отношенія между Богомъ и человъкомъ, какъ господство и подчиненіе, какъ запретъ и нарушение запрета, какъ наказание и прощение, какъ выкупъ за совершенное преступленіе и пр., то прибъгаютъ къ юридической символикъ. Къ юридической символикъ прибъгаютъ, когда мыслять жизнь церкви, какъ учрежденіе, регулируемое закономъ, когда уподобляютъ ее монархиче-

^{*)} См. мою книгу «О назначеніи человѣка».

ской государственности и іерархію уподобляють государственнымъ чинамъ. Когда же мыслятъ Бога, какъ источникъ жизни, подателя жизни въ преизбыткъ, когда говорятъ о новомъ рожденіи, о ветхомъ и новомъ Адамъ, когда жизнь во Христъ уподобляется виноградной лозъ, когда церковь именуется мистическимъ тѣломъ Христовымъ и сравнивается съ ростомъ дерева, то прибъгаютъ къ біологической символикъ. Болъе глубока, болѣе первична, конечно, біологическая символика, а не юридическая символика, взятая изъ наиболѣе грѣховной стороны человѣческаго существованія. У Ап. Павла можно найти и біологическую и юридическую символику. И юридическій языкъ Ап. Павла даль поводь къ построенію юридической теоріи искупленія. Въ самомъ Евангеліи безспорно преобладаеть біологическая символика, символика жизни, нового рожденія, съмени, закваски, виноградной лозы ит.п., хотя можно найти и языкъ отражающій соціальныя отношенія людей. Символическій языкъ евангелій, къ которому прибъгаеть самъ Христось, означаеть очеловъчение откровенія, нисхожденіе его до человъческаго уровня.Откровеніе есть всегда и прикровеніе, прикровеніе откровенія человѣческимъ языкомъ. Очеловѣченіе божественнаго Слова имѣетъ не только искажающее, ограничивающее, умаляющее значеніе, но и положительное значеніе, ибо Богъ сталъ человъкомъ. Боговочеловъчение и есть тайна христіанства. И боговочеловъчение означаеть вхождение божественнаго Слова въ человъческую соціальную среду. Универсальность христіанства связана съ тъмъ, что въ Евангеліи религіозный субъектъ, поставленни передъ откровеніемъ религіознаго объекта, взять, какъ самая элементарная и простая, средняя человъческая природа. Простыми и средними людьми были апостолы, не людьми высщей и утонченной культуры, а обыкновенными рыбака-

ми. Самъ Сынъ Божій въ своей человъческой природъ былъ простымъ работникомъ, плотникомъ. Петръ, признавщій въ Христь Сына Божьяго, быль самый средній человѣкь со всѣми человѣческими слабостями и недостатками. Именно средняя, обыкновенная, простая человъческая природа должна была услыхать божественное Слово, увидъть откровеніе божественнаго свъта. Такая соціальная элементаризація религіознаго субъекта имѣла огромное и всеобщее значение, она означаеть, что путь спасенія раскрывается для всѣхъ людей, а не для посвященныхъ только, что преодолъвается аристократизмъ античныхъ мистерій. Такимъ путемъ соціальныя и цивилизаторскія внущенія въ зарожденіи христіанства доведены до минимума. Символическій языкъ въ истинахъ христіанства элементаренъ и простъ, въ этомъ его въчное значеніе. Этоть элементарный и простой символическій языкъ означаеть очеловъчение Слова Бога. Но Слово Бога введенное въ соціальную среду человъчества должно будетъ существовать въ этой коллективной средъ, подвергаться постояннымь ея воздъйствіямь, ея внущеніямь, отражать ея ограниченность тьму. Религіозный субъекть будеть постоянно дълать мучительныя усилія вернуться къ простотъ и элементарности Слова Божьяго, прорваться къ первоначальному откровенію черезь порабощаю-щую его соціальную и цивилизаторскую среду. И это будеть удаваться ему лишь частично. Религія будеть не только духовнымь, но и соціальнымь феноменомъ. Воплощение будетъ не только проникновеніемъ божественнаго и духовнаго въ природное и человъческое, но и ограничениемъ и искаженіемъ божественнаго и духовнаго этимъ природнымъ и человъческимъ. Слабости и недостатки простой природы Петра стануть слабостями и недостатками соціально усложненной природы Петра въ церковной исторіи. И на религіозномъ

мышленіи, на религіозной жизни будеть отражаться подавленность, угнетеніе, рабство человѣка, какъ обратная сторона явленія подавляющихъ, угнетающихъ и порабощающихъ. Религіозный свъть, преломленный въ тьмъ религіознаго субъекта, породить обскурантизмь, любовь кь мраку, какъ къ повельнію ортодоксіи. Съ этимъ связанъ глубокій трагизмъ христіанской жизни.
Ощибочно было бы думать, что религіозный

субъектъ вносить только плохое и темное. Отъ него идеть и положительное творчество въ религіи. Религіозный субъекть претерпъваеть измѣненія въ исторіи христіанства. Не всегда будеть христіанское откровеніе восприниматься человъческой природой Петра. Уже Павелъ быль иной человъческой природой, онъ не былъ простецомъ, онъ былъ геніальнымъ челов комъ, такъ много привнесщимъ въ судьбу христіанства, что ставился даже вопросъ, не онъ ли основатель христіанства. Христіанское откровеніе дальше должно было быть воспринято людьми эллинскаго духа и эллинской мудрости — Климентомъ Александрійскимъ и Оригеномъ. Туть совершенно очевидно религіозный субъекть быль иной, чъмъ во времена евангельски-апостольскія. При этомъ совершенно неумъстенъ вопросъ, лучше ли онъ, но онъ иной. Сама же истина христіанства одна и та же и продолжаеть существовать для всвхъ людей, самыхъ простыхъ, какъ и самыхъ сложныхъ по своей культурѣ, для всякой человъческой души. Въ этомъ отличіе религіи отъ философіи, которая существуєть сравнительно для немногихъ, но которая и не спасаетъ. На протяженіи всей исторіи христіанства религіозный субъекть измѣняется, усложняется, обогащается новымъ опытомъ, испытываетъ судьбу блуднаго сына, ставить новыя проблемы и оть этого не можеть не зависъть воспріятіе и пониманіе христіанской истины. Религіозная теорія познанія не можетъ

оставаться на точкъ зрънія наивнаго реализма. Человъкъ остается человъкомъ, въ немъ есть въчная основа, онъ и Божье твореніе, несущее въ себъ образъ и подобіе Божье, и существо грѣховное и падшее, онъ есть существо раздвоенное, высокое и низкое, въ немъ свътъ и тьма, онъ точка пересъченія двухъ міровъ. Судьба Іова остается и до сихъ поръ судьбой человѣка. Но человѣкъ переживаетъ все новый и новый опыть, въ немъ рождается все новыя и новыя проблемы. Человъкъ долженъ принять истину откровенія, свъть исходящій оть религіознаго объекта всей полнотой своего существа, принять не только простотой своего сердца, но и всей сложностью своего ума, своего разумънія. Это и дълалось въ исторической судьбъ христіанства. Различіе эзотерическаго и экзотерическаго вѣчно. И вотъ мы видимъ, что природа религіознаго субъекта, природа человѣка подверга-лась большимъ измѣненіямъвъ періодъ исторіи связанной съ гуманизмомъ. Человъкъ пережилъ новый и большой опыть, не только изощрился умъ его, но и развернулась душа его, особенно измѣнилась и обогатилась его эмоціональная жизнь. Гуманизмомъ я называю туть не міровоззрѣніе, господствовавшее съ эпохи Возрожденія, которое сейчась разлагается и окончательно изживаетъ себя, а раскрытіе, усложненіе и утонченіе человѣ-ческой природы, обнаруживаніе всѣхъ творческихъ силъ человѣка. Гуманизмъ не есть только міровоззрѣніе, идеологія, вѣра и при томъ ложная вѣра, онъ есть также раскрытіе человѣка, испытаніе встхъ человтческихъ возможностей. И вотъ въ опытъ раскрытія человъка, разворачиванія заложенныхъ въ немъ энергій происходить существенное измѣненіе религіознаго субъекта. Пережитый опыть могь вести къ отпаденію оть христіанской въры. Но вернуться къ христіанской въръ моно только съ результатами пережитаго опыта, которыхъ никакими силами зачеркнуть нельзя. Къ этимъ результатамъ принадлежитъ положительное раскрытіе человъчности. Автономія разума эпохи просвъщенія, не только болье поверхностнаго французскаго, но и болње глубокаго нъмецкаго, просвъщенія нъмецкаго идеализма, можетъ и должна быть преодолѣна высшей стадіей. Но невозможно вернуться къ стадіи предшествующей эпохи автономіи разума, къ старой авторитарности. Этотъ процессъ нужно мыслить діалектически. Совершенно невозможно отказаться отъ того сознанія справедливости, отъ того чувства сострадательности, отъ той человъчности, которыя завоеваны гуманистичекимъ процессомъ въ человъкъ. Бога долженъ принять человъкъ и своимъ разумомъ, раскрывающимся въ развитіи философіи и науки, и своимъ исканіемъ соціальной справедливости и своей любовью къ свободъ и своимъ созерцаніемъ красоты. А это значить, что для христіанскаго сознанія имфетъ сейчасъ первостепенное значеніе антропологія, ученіе о человъкъ, о религіозномъ субъектъ. Святоотеческая и схоластическая антропологія не можетъ насъ удовлетворить, она была даже не столько христіанская, сколько юдаистически-эллинская и она не знаетъ происшедшихъ въ человъкъ измъненій, не знаетъ новаго опыта. Возврать въ антропологіи къ томизму или къ патристикъ идетъ мимо запросовъ современной души, не отвъчаетъ на ея муку. Антропологія эта слишкомъ раціоналистична. Только теперь по настоящему дѣлается возможной псигологія. Въ человѣкѣ происходилъ двойной процессъ, и процессъ очищенія отъ старыхъ соціальныхъ внушеній, отъ рабства у старыхъ соціальныхъ отношеній, отъ раціоналистическаго извращенія откровенія, и процессъ новаго засоренія, засоренія новыми формами соціальной идолатріи и новымъ раціонализмомъ. Поэтому такое значеніе имъетъ

познание коллективнаго подсознательнаго, соціальных внушеній и соціальной обусловленности въ религіозномъ сознаніи и религіозной жизни. Это познаніе можетъ имѣть освобождающее значеніе. И мы должны вѣрить, что всѣ существенныя измѣненія въ человѣческой природѣ, всякая ея подлинная гуманизація происходила подъ не-

зримымъ воздъйствіемъ Духа Божьяго.

Въ антропоморфныхъ представленіяхъ о Богъ есть въчныая истина, ибо человъкъ есть образъ и подобіе Божье, и Богъ вочелов вчивается, Логось воплощается. Но въ религіозной мысли и религіозной жизни примъшивался дурной антропоморфизмъ, образы котораго взяты изъ государственной жизни, основанной на господствъ и подчиненіи, изъ уголовнаго права, изъ ложныхъ понятій о чести, объ оскорбленіи и возстановленіи поруганной чести кровью, изъ родовой жизни пола. Антропоморфизмъ попадалъ во власть раціональныхъ человъческихъ понятій. Саме понятіе о божественной справедливости заключало въ себъ дурной антропоморфизмъ, ибо въ образованіи человъческаго понятія о справедливости немалую роль игралъ трансформированный и сублимированный подсознательный аффектъ мести. Антропоморбогопознаніи быль также физмомъ. Образы взятые изъ соціальной жизни людей переносились на Бога, соціальную волику принимали за послъднюю онтологическую реальность. Категоріи соціальной родовой жизни переносились на жизнь Бога и на его отнощенія къ міру и человъку. КЪ образомъ конечное и гръховно ограниченное вносилось въ безконечность божественной жизни. Самое отношение къ Богу, какъ къ Господину и повелителю, карающему за нарушеніе своей воли, взято изъ соціальныхъ отношеній людей и изъ дурныхъ, подлежащихъ преодолѣнію отнощеній.

Аффектъ страха, перенесенный на отнощение къ Богу, есть аффекть порожденной природой и соціальной необезпеченностью человѣка, его постояннымъ пребываніемъ подъ угрозой, его соціальной озабоченностью, его истерзанностью древними инстинктами тиранства. Этотъ страхъ смъщался съ мистическимъ ужасомъ передъ трансцендентной бездной, передъ тайной бытія, Mysterium tremendum, который дъйствительно есть первичный религіозный феноменъ. Съ соціоморфизмомъ въ религіозной мысли и жизни, подлежащимъ соціологическому истолкованію, связано отношеніе между ката ватическимъ и аповатическимъ богопознаніемъ. Натаватическое богопознаніе всегда оказывается проникнутымъ соціоморфическими элементами, аповатическое же богопознаніе надъ ними возвыщается. Поэтому соціоморфически — каватическое богопознаніе должно быть признано эзотерическимъ, оно всегда имѣетъ дѣло съ конечнымъ въ Богъ, а не съ безконечностью божестевенной жизни. Очищеніе религіознаго субъекта отъ соціоморфизма, отъ соціальныхъ внушеній, отъ соціальныхъ категорій господства и подчиненія, отъ древнихъ аффектовъ страха, рабства, подавленности, мести, коренящихся въ коллективномъ подсознательномъ, есть путь апочатическаго познанія. Но этотъ духовный путь совсѣмъ не есть отрицаніе откровенія и боговочеловъченіе, т. е. возможной близости Бога и человъка, человъчности Бога и богоподобія человѣка, это есть путь очищенія и освобожденія отъ рабьяго соціоморфизма. Очищеніе и освобожденіе религіознаго субъекта отъ подавленности соціальными наслоеніями означаетъ не отмъну христіанскаго откровенія, а духовное углубленіе въ его постиженіи. Духовность въ религіи, спиритуальность въ богопознаніи совсѣмъ не есть отрицаніе воплощенія, отверженіе тълесности, не есть отвлеченный спиритуализмъ, подобный индусскому,а есть прежде всего возвыщение надъ соціальными источниками религіи и соціальными ограниченіями откровенія. Эти соціальныя внушенія, этоть дурной антропоморфизмъ оставляють христіанство еще схожимъ съ тотемистическими культами первобытныхъ новъ. Но есть въчный антропоморфизмъ, который не только не можетъ быть преодоленъ и упразненъ, но долженъ быть окончательно раскрытъ и углубленъ. Онъ означаетъ въчную христіанскую, богочеловъческую истину о человъчности Бога и богоподобіи человѣка. Самая возможность откровенія, возможность внутренняго отношенія между религіознымъ субъектомъ и религіознымъ объектомь связана съ этой истиной антропоморфизма. Есть также относительный и переходящій антропоморфизмъ, связанный не съ въчной и чистой человъчностью, а съ временной и преходящей человъчностью, человъчностью опредъляемой соціальной обыденностью, соціальной зависимостью, коллективнымъ подсознательнымъ. И вотъ этотъ антропоморфизмъ нужно побъдить во имя чистой человъчности. Этотъ относительный, соціально обусловленный антропоморфизмъ остается даже въ жизни святыхь, достигающихъ высшихъ ступеней духовности. Когда христіанство понимають, какъ требованіе подавленія и подчиненія человѣка, то это, конечно, есть дурной соціоморфизмъ, отраженіе соціальных отнощеній людей, перенесенных на отнощенія Бога и челов вка. Требованіе же очищенія, освобожденія, творческаго восхожденія, преображенія и богоуподобленія человѣка свободно оть этого дурного соціоморфизма. Грѣхопаденіе было истолковано соціоморфически въ образахъ старой подавленности, подчиненности, рабства человъка. У Маркса было много върнаго объ этой соціоморфической сторонѣ религіи и этого совсѣмъ не нужно бояться. Чистая же человѣчность и

духовность есть другая сторона покорности волѣ Божьей.

Религіозный субъекть легко выдаеть прошлое, принадлежащее времени, за въчное. Исключительно консервативное, традиціоналистическое христіанство думаеть, что прошлое, древнее есть уже самая въчность, не видить размъровъ временнаго, преходящаго, тлъннаго въ прошломь, въ будущемъ же склонно видъть или сохранение прошлаго или разрушение въчнаго. Но это есть ложное отношеніе къ времени, ложное пониманіе отнощенія между временемъ и вѣчностью. Время завоевываеть въчность и потому только оно не окончательно погибаеть, въчность входить во время. Но прощлое есть лишь часть разорваннаго времени и не имъетъ преимуществъ съ точки зрънія въчности передъ будущимъ. Въ прошлое входила въчность и вѣчность будеть входить въ будущее или иначе можно сказать, что и прошлое и будущее имѣютъ выходы къ вѣчности. Но и прошлое и будущее все же принадлежать къ разорванному времени. Тоть факть, что что-нибудь есть преданіе дѣдовь и унаслѣдовано оть сѣдой старины, самъ по себѣ не есть гарантія истины, хотя это преданіе можеть, конечно, быть и истиной. Новизна будущаго также не есть гарантія истины, какъ и старина прошлаго, въ ней можетъ быть страшная ложь. Но въ новизнъ будущаго можетъ также раскрываться и твориться истина и правда, пріобщающія къ вѣчности. Христіанскій консерватизмъ, идеализирующій исключительно прошлое, основанъ на томъ, что всякое измѣненіе есть нарушеніе вѣчнаго порядка, измѣненіе къ худшему, а не къ лучшему. Все тутъ основано на предположеніи, что существуєть вѣчный міровой порядокъ, установленный самимъ Богомь, объективный порядокъ, исходящій отъ религіознаго объекта. Религіозный же субъекть долженъ подчиняться этому объективному и въчному порядку. Если же онъ хочетъ измѣнять его, то онъ попадаетъ во власть зла. Но въра въ существованіе такого объективнаго и вѣчнаго космическаго и соціальнаго порядка, который не долженъ измѣняться, есть лишь состояніе религіознаго субъекта, зависящее отъ извъстной соціальной среды и соціальныхъ отношеній, находящихся во власти времени, а не вѣчности. Существуютъ вѣчныя духовныя основы жизни, опредъляемыя религіознымъ объектомъ, т. е. Богомъ, но не существуетъ въчнаго естественнаго и соціальнаго порядка, онъ измъняется и творится. Творчество новизны, измънение есть основной признакъ жизни. Жизнь есть творчество. Человѣкъ, религіозный субъектъ вкорененъ въ въчности, въ духовномъ міръ и вмъстѣ съ тѣмъ онъ все время созидается, творится, обогащаетъ себя, реализуетъ полноту жизни. Поэтому религіозный субъекть, человѣкъ есть живой парадоксъ, противоръчивое сочетаніе въчности и времени. Отрицать будущее во имя прошлаго такъ же ошибочно, какъ и отрицать прошлое во имя будущаго. Нельзя ни прошлое, ни будущее принимать за въчность. Нельзя отрицать традиціи. То, что въ ней отъ въчности, подлежать сохраненію. Но въ традиціи есть многое отъ окостентвшаго, остановившагося времени, а не отъ въчности. Слишкомъ многое въ традиціи имѣеть соціальный, а не религіозный источникь, опредѣляется безсознательными соціальными вліяніями и наслоеніями религіознаго субъекта. Поэтому традиція постоянно пуждается въ очищеніи, въ одухотвореніи, вь освобожденіи отъ соціальной обыденности прошлаго. Ложное понимание соборности и есть пониманіе ея, какъ соціальнаго коллектива, какъ религіознаго мышленія средняго человѣка соціальной обыденнности. Но возможно, конечно, пониманіе соборности, какъ качества духа, какъ внутренней универсальности духа. Общество подчинено закону большого числа и потому оно давить индивидуальное, не можеть его даже замѣтить. Религіозная же жизнь имѣеть прежде всего дѣло съ индивидуальнымъ.

То, что можно назвать ложнымь объективизмомъ въ религіи, связано съ объективаціей абсолютизаціей соціальныхъ внушеній религіознаго субъекта. Этотъ объективизмъ, давящій духовную жизнь человъческой личности, и есть какъ разъ субъективизмъ, коллективный субъективизмъ, онъ не оть религіознаго объекта, не оть Бога, а оть самаго религіознаго субъекта, оть общества съ его приказами и запретами. Тотемизмъ тоже былъ объективизмомъ, но это былъ объективизмъ соціальный, онъ происходиль отъ соціальныхъ внущеній религіозныхъ субъектовъ живущихъ въ первобытныхъ кланахъ. Освобождение оть давящаго ложнаго объективизма въ религіи и есть именно освобожденіе оть ложнаго субъективизма, оть объективизаціи соціальной зависимости религіознаго субъекта. Такой ложный объективизмъ утвердился въ богословской мысли. Онъ нашелъ свою классическую форму въ томизмѣ. Въ интеллектѣ пытались найти объективное. Но объективный и общеобязательный характерь интеллектуальнаго состава религіознаго субъекта имфетъ соціальный источникъ. Логика въ значительной степени соціальна, она предполагаеть сообщение, она аргументируеть для другихъ. Логизація и раціонализація религіозной истины есть также ея соціализація, ея обработка для религіознаго коллектива. Но именно потому интеллектуальный объективизмъ въ религіи отражаеть субъективизмъ соціальнаго коллектива. Поэтому томизмъ такъ дорожитъ Аристотелемь и философіей здраваго смысла. Еще гораздо болѣе существенны для религіозной жизни соціальныя внушенія въ теоріи авторитета. Теорія

авторитетна желаетъ возвысится надъ произволомъ и субъективизмомъ человѣка, хочетъ услыхать голосъ самого Бога, религіознаго объекта. Но она цъликомъ находится во власти человъческаго, во власти религіознаго субъекта и его безсознательныхъ соціальныхъ внушеній. Исканіе критерія истины въ церковномъ авторитет тотличается отъ исканія критерія истины въ качественности совъсти и духа совсъмъ не тъмъ, въ одномъ случаъ критерія ищуть въ надъ-человъческомь и не человъческомь, а въ другомъ ищутъ въ человъкъ, а въ томъ, что критерій видять также въ человъкъ, но въ другомъ человъкъ, не во мнъ, что авторитетомъ признають чужой опыть, чужую мысль, чужое созерцаніе, не мое. Но это и значить, что авторитеть имъеть соціальный характерь, предполагаетъ другихъ, какъ источникъ истины, онъ опредъляется коллективными соціальными внущеніями. Безспорно для моей религіозной жизни имъетъ огромное значение чужой опытъ, чужая мысль, чужое созерцаніе, религіозный субъекть. не можеть оставаться замкнутымь и черпать лищь изъ себя. Истина познается лищь въ опытъ общенія и общности. Но чужое имъеть для меня значеніе лишь когда оно дълается моимъ, роднымъ, моимъ опытомъ, моей мыслью, моимъ созерцаніемъ. Парадоксъ жизни личности въ томъ, что она можетъ раскрывать свое содержаніе, лишь вміщая въ себя сверхличное. Но при этомъ сверхличное становится и глубоко личнымь. Религіозная совъсть всегда глубоко личная, чужая совъсть не можеть замѣнить моей совѣсти и не можетъ быть мнѣ навязана, но въ личную совъсть имманентно входить и совъсть сверхличная. Туть нъть авторитарно-внъщнихъ отношеній. Теорія авторитета цъликомъ находится во власти челов вческаго, она идеть отъ религіознаго субъекта и объективизируеть его соціальную жизнь во времени, она есть

миоотворчество коллективнаго религіознаго субъекта, какъ напр. въ папизмъ. То, что представляется авторитетомъ, какъ исходящее не отъ меня, а отъ другихъ, отъ отцовъ, отъ древнихъ, отъ іерархін, отъ папы, то есть человъческое, но на извъстной стадіи соціальной объективизаціи. Мое мнѣніе, мое изъявленіе совъсти еще не достигаеть этой ступени соціальной объективизаціи, оно можетъ позже ея достигнуть и тогда стать древнимъ, традиціоннымъ. Сверхчеловъческое, исходящее отъ религіознаго объекта, можетъ раскрываться и въ моей совъсти и въ совъсти древнихъ. Богь дъйствуеть вь глубинъ свободной совъти человъка, въ глубинъ духа. И дъйствіе Бога на человъческія сообщества, на соціальные организмы людей происходить черезъ имманентное качество ціальности, общности въ личной совъсти, въ цълостности личнаго разума, а не черезъ дъйствіе на соціальную обыденность, на временный объективированный соціальный порядокь, который искажаеть религіозное откровеніе дурнымъ соціоморфизмомъ.

Именно потому, что религіозный субъектъ подвергается соціальнымъ вліянімъ и мѣняется, христіанство въ исторіи должно было пройти черезъ очистительную критику, черезь видимое возстаніе противъ него. Извилистыми и кривыми путями очищается религіозный субъекть отъ сращенія въчной истины откровенія съ временнымъ, преходящимъ, относительнымъ, отъ внушеній соціальной обыденности, принятыхъ за Религіозный субъекть одухотворяется, очеловъчивается черезъ кризисы и катастрофы, которыя видимо могуть производить впечатлѣніе смерти самаго христіанства. Можно въ концъ концовъ признать, что и Спиноза со своей борьбой съ антропоморфизмомъ, и злыя издѣвательства Вольтера, и критика Канта, и діалектика Гегеля, и антропологизмъ Фейербаха, и обличенія классовой лжи Марксомъ, и библейская критика, и минологичетеорія, и возстаніе противъ христіанства Ницше, и провокаціи Розанова были обогащающимъ опытомъ, были очистительнымъ огнемъ. Революціи, какъ бы онѣ ни были ужасны, какъ бы онъ ни принимали богоборческій характеръ, имъють очистительный характеръ, повышають качество религіозной жизни. Христіанская антропологія, до сихъ поръ еще недостаточно раскрытая и развитая, должна поставить вопросъ о творческой активности религіознаго субъекта, который не можеть оставаться пассивнымь. Эта активность религіознаго субъекта означаеть не только его отрицательную соціальную зависимость, въ силу которой онъ искажаетъ христіанство въ угоду своимъ расовымъ, національнымъ, семейнымъ, сословнымъ, классовымъ инстинктамъ и интересамъ, но и его положительное творческое призваніе, его положительное соціальное діло. Жизнь христіанскаго міра есть богочеловъческій процессь и въ немъ человъкъ всегда вноситъ свою активность и творчество. Христіанская истина открылась для всякой человъческой природы, самой простой и элементарной, но также и природы усложненной и интеллектуально изощренной. И неизбъжно ставится вопросъ о христіанскомъ оправданіи творческаго акта философа, ученаго, художника, моралиста и соціальнаго реформатора, техника-строителя. Этотъ творческій актъ не получиль еще оправданія въ принятіи христіанства природой Петра. Оправданіе творческаго акта человъка въ разныхъ сферахъ культуры и соціальной жизни дѣлалось черезъ подчиненіе его религіи, религіозному авторитету, религіозному акту, какъ главному, первенствующему и господствующему надъ жизнью. При этомъ творческій акть познавательный, художественный, моральный, соціальный, техническій представлялся

второстепеннымь и второсортнымь по своему значенію, подчиненнымъ и подсобнымъ. При рѣзкомъ раздѣленіи «сакральнаго» и «профаннаго» «профанное» или остается совсѣмъ неоправданнымъ или имъетъ второстепенное значеніе. Это привело къ тому, что творческій актъ человъка во всъхъ сферахъ возсталъ противъ религіи, какъ противъ тираніи, и автономно пытался утвердить свои до-стоинство и значеніе. Никогда творець и строитель въ области познавательной, художественной или соціальной не примирится съ тѣмъ, что его творческое дѣло второстепенное, подчиненное, лишь дозволенное, лищено высшаго достоинства. Религія не можетъ извиъ подчинить себъ творческую жизнь человъка, какъ высшая іерархическая власть. Очевидно оправданіе всей творческой жизни человѣка возможно лишь чрезъ свободное раскрытіе имманентной религіозности самаго творческаго акта, котораго ждеть оть человъка Богь. Человъкъ долженъ какъ бы свободно догадаться, чего онъ него ждеть Богь. Богь действуеть въ міре incognito, употребляя любимое выраженіе Кирхегардта. Такъ при внѣшнемъ подчиненіи искусства религіи оно не можеть уже изображать трагедіи человѣческаго существованія, ему предписывается изображать благополучный религіозный выходъ. Жизнь самаго художника представляеть трагическій конфликть, но онь отказывается изображать трагедію жизни въ своемъ твочествъ. Такой трагическій конфликтъ мы видимъ въ жизни Расина, онъ былъ порожденъ столкновеніемъ его янсенистскаго сознанія съ его творческимъ духомъ. Онъ призналъ за лучшее перестать писать трагедіи и перейти отъ второстепеннаго и сомнительнаго художественнаго акта къ первостепенному и несомнънному религіозному акту. Тоже мы видимъ въ жизни Гоголя. Ученіемъ о грѣхопаденіи и ложной аскетической метафизикой необычайно злоупотребляли для уни-

женія человѣка, для отрицанія его творческаго призванія. И въ этомъ играли, конечно, огромную роль коллективныя соціальныя внушенія, отразавшія рабства человъка, инстинкты порабощенія и инстинкты порабощенности. И все, что освобождаеть человъка отъ рабства, благопріятно для очищенія, одухотворенія и очеловъченія христіанства, освобождаеть отъ ложнаго антропоморфизма и утверждаетъ истинный антропоморфизмъ, раскрываеть богоподобное достоинство человъка. Основное заблужденіе исключительно консервативнаго христіанства было связано съ идеей законченности творенія, идеей въчнаго и неизмъннаго объективнаго порядка, природнаго и соціальнаго. этомъ у человъка оставалось одна лишь задача покорность и послушание этому порядку, творческихъ задачъ у него не было. Этой ложной идеж противостоить не идея эволюціи, находящейся во власти натуралистического детерминизма, а идея творчества, творческой свободы человіка, призванной продолжать и завершать міротвореніе. «Философія общаго дѣла» Н. Өедорова есть примѣръ активнаго христіанства, проэктивнаго и побъднаго. По сознанію Н. Өед рова человѣкъ призванъ не покориться объективному порядку вещей, а побъдить и покорить его во имя всеобщаго воскресенія.

Европейскій гуманизмъ переживаетъ кризисъ и повидимому кончастся. Гуманистическая идеологія не увлекаетъ болѣе молодыя теченія. Гуманисты производятъ впечатлѣніе людей прощлаго, отошедшаго вѣка. Я самъ много объ этомъ писалъ. Но въ чемъ ложь гуманизма, почему онъ безсиленъ, почему онъ переживаетъ кризисъ и кончается? Ложь и безсиліе гуманизма совсѣмъ не въ томъ, что онъ утверждалъ достоинство человѣка и его творческое призваніе, а въ томъ, что онъ недостаточно это дѣлалъ, отвергъ источникъ до-

стоинства и творческаго призванія челов жа и привелъ къ униженію и отрицанію человѣка. Гуманизмъ перенесъ смыслъ й ценность жизни исключительно въ этотъ видимый міръ. Онъ не до неба, не до Бога утверждалъ достоинство и призваніе человѣка, онъ началъ отрицать Бога и потому кончилъ и отрицаніемъ человѣка. Преодолѣть гуманизмъ нужно во имя человѣка, во имя его высшаго достоинства, а не противъ человѣка и не для его униженія. Между тъмъ какъ антигуманистическія теченія нашей эпохи часто означають униженіе и отрицаніе человѣка, дегуманизацію мысли и жизни. Въ этомъ отношеніи интересна и симптоматична діалектическая теологія. Въ теченіи связанномъ съ К. Бартомъ смѣщаны реакціонные и революціонные элементы. Бартіанство есть ръзкая и острая реакція противъ гуманизма внутри христіанства. Но это теченіе идетъ дальше и возстаетъ противъ всякой связи и соединенія Творца и творенія, противъ всякой попытки заполнить трансцендентную бездну между Богомь и міромъ, Богомь и человъкомъ. Этотъ мотивъ есть возврать къ истокамь реформаціи. Онъ опредълялся въ ней реакціей противъ эллинскихъ и гуманистическихъ элементовъ въ католичествъ. Сейчасъ же онъ опредъляется реакціей противъ эллинскаго духа и гума-низма въ протестантизмѣ XIX вѣка. Но бартіанство приходить къ униженіи и уничтоженію человѣка, человѣческаго элемента въ христіанствѣ. Для этого теченія не существуетъ тайны богочеловѣчества, тайны сближенія божественной и человъческой природы, которое произощло въ Христъ и должно произойти въ христіанскомъ челов вчеств в. У бартіанцевъ силенъ ветхозавѣтный библейскій духъ, они испов фдуютъ реюдоизированное христіанство. Въ этомъ реакціонная сторона бартіанства. Человъкъ есть лищь гръхъ, онъ не свободный духъ, въ немъ истребленъ образъ и подобіе Божье и

онъ не способенъ къ положительному творчеству. Религіозный субъекть остается неизмѣннымъ, онъ всегда есть лищь выявление гръха. Но въ бартіанствъ есть и революціонная сторона. Это есть очищаю-щій кризись христіанскаго сознанія. Подобно Киржегарду бартіанство революціонно отрицаеть вст ложныя теофаніи въ мірѣ, признаетъ грѣховность всѣхъ земныхъ воплощеній, грѣховность самой жизни церкви. Съ этимъ связана эсхатологиченость бартіанства. И это въ немъ скорте революціонный, чемь реакціонный мотивъ. Христіанство должно быть очищено отъ ложныхъ священныхъ воплощеній, отъ обоготворенія натуральнаго, земного, соціальнаго по своимъ источникамъ, что какъ разъ и было причиной церковнаго консерватизма. Есть два источника реакціонно-консервативнаго христіанства — униженіе и отрицаніе человъка, его свободы, его самостоятельности и творчества, и признаніе священнымь и божественнымь того, что есть въ прощломъ относительное и преходящее дъло человъка, что имъетъ соціальный источникъ. Бартіанство реакціонно въ первомъ отношеніи и революціонно во второмъ. Но нужно признать высщее достоинство, богоподобіе и творческое призваніе человѣка, его соучастіе въ дѣлѣ Божьемъ и вмъстъ съ тъмъ увидъть относительный и преходящій характерь человъческихъ дъяній, связанныхъ съ соціальной действительностью, т. е. никогда не обоготворять догматизирующаго разума, рода, класса, государства, формъ соціальнаго быта, не отождествлять съ послъдними реальностями символики человъческаго языка, проникнутой природными и соціальными внущеніями. Въ этомъ вся трудность.

Тайна религіозной жизни въ ея двучленности, въ ея бого-человѣчности, во встрѣчѣ и соединеніи двухъ. Эта тайна находитъ себѣ соверщенное выраженіе въ христіанствѣ, какъ религіи Бого-чело-

въка и Бого-человъчества. Но эта двучленность, двухприродность религіозной жизни предполагаетъ динамичность, актуальность и измѣняемость религіознаго субъекта. Религіозную жизнь и особенно христіанскую жизнь невозможно себъ представить, какъ стояніе неизмѣняющагося религіоз• наго субъекта передъ неизмѣняющимся религіоз-нымъ объектомъ. Религіозный процессъ, который можеть быть названь первичнымь религіознымь феноменомъ, есть двойной процессъ — процессъ рожденія Бога въ человѣкѣ и рожденія человѣка въ Богъ, откровенія Бога человъку и откровенія человъка Богу. Это и есть выраженная въ догматической символикъ тайна двуединства, соединеніе двухъ природъ безъ ихъ смѣшенія. Этотъ двойной характеръ религіознаго процесса, эта двучленность самаго феномена откровенія и порождаетъ трагизмъ религіозной жизни. Трагизмъ этотъ вкорененъ въ свободъ. Динамика религіозной жизни не можетъ не быть ея трагикой. Религіозный субъектъ находится въ динамикъ, послъ всего пережитаго и передуманнаго за рядъ столътій онъ во многомъ измѣнился и, обращаясь къ вѣчной истинѣ христіанства, онъ ее по новому воспринимаетъ. Ошибочно было бы сказать, что религіозный субъектъ непремѣнно улучшился, иногда онъ ухудшился, потерялъ цѣльность и силу вѣры. Но въ лучшія, свѣтлыя минуты своей жизни онъ жаж-деть свободной встрѣчи съ Богомъ, онъ хочетъ увидѣть христіанское откровеніе очищеннымъ и освобожденнымъ отъ искажающихъ соціальныхъ навожденій, расовыхъ и національныхъ, семейныхъ, сословныхъ, классовыхъ, освобожденнымъ оть абсолютизаціи условной и преходящей символики человъческого языка и разума, отъ ложной его стабилизаціи. Религіозный субъектъ проходить черезь очищающіе кризисы и революціи. Онъ не только очищается и освобождается, но и творить. И воть парадоксь, къ которому мы приходимъ. Христіанство деть осуществлять соціальную правду ко тогда, когда оно будетъ свободно отъ порабощающихъ соціальныхъ внущеній и навожденій. Христіанство будеть осуществлять соціальную правду, будетъ творить лучшую жизнь, когда оно перестанеть быть безсознательно соціальной религіей, религіей родовой, государственной, національной, классовой, раціонализированной и юридизированной, когда христіане будуть слушать голосъ Бога, а не голосъ общества, голосъ безконечнаго, а не голосъ конечнаго. Признаніе измѣняемости религіознаго субъекта не только не есть отрица-щеніе оть преходящихь формь общества къ внутреннему, въчному человъку, раскрытія котораго и есть величайщая задача.

Николай Бердяевъ

трагедія зла

(Философскій смыслъ образа Ставрогина).

I.

Среди всѣхъ романовъ Достоевскаго «Бѣсы» занимаютъ совсемъ особое место. Въ этомъ романе, который самимъ авторомъ его былъ задуманъ какъ «тенденціозное сочиненіе», нашъ «фантастическій» писатель болѣе всего приблизился къ эмпирической дъйствительности. Правда, въ теченіе работы своимъ произведеніемъ Достоевскій ЭТИМЪ измѣнилъ первоначальный замыселъ романа: изъ «памфлета» вырасло само собою твореніе съ глубокимъ метафизическимъ содержаніемъ, имъющее сверхвременное значеніе. Какъ это всегда бывало съ Достоевскимъ, онъ не въ силахъ былъ совладать со множествомъ «обступившихъ его» въ то время идей и образовъ. Поэтому въ романъ, который первоначально былъ задуманъ имъ какъ чуть ли не полемическое сочиненіе, онъ включилъ цѣлый рядъ своихъ «самыхъ любимыхъ» мыслей, которые, по его словамъ, предназначались имъ ранъе для другого болѣе «монументальнаго труда». И въ данномъ случат онъ следовалъ лищь закону своего художественнаго творчества: эмирическая дъйствительность всегда была для Дотолько символомъ болѣе глубокой стоевскаго реальности метафизического порядка, реальности

идеи, въ чемъ онъ и самъ справедливо усматривалъ особенность своего «болъе реальнаго идеализма». И все же, несмотря на то метафизическое углубле ніе, которое испытали «Бѣсы», они остались, если и не тенденціознымъ, то во всякомъ случат полемическимъ сочиненіемъ, въ которомъ современная Достоевскому дъйствительность оказывается часто изображенной съ почти фотографической точностью. Двупланность эмпирическаго и метафизическаго дъйствія, которая столь характерна для всѣхъ больщихъ романовъ Достоевскаго, усугубляется въ «Бъсахъ» до чрезвычайной степени: изображеніе современной эмпирической дійствительности, неръдко граничащее съ полемической на нее каррикатурой, тѣсно переплетается здѣсь съ глубокой символикой, изображающей реальнѣйщую
реальность міра идей. Вся архитектоника романа и самый его стиль становятся вполнъ понятными, только если принять во вниманіе эту заостренную полярность двухъ плановъ бытія, въ которыхъ протекаетъ напряженное дъйствіе романа.

Дъйствительное событіе, которое изображено во внъщнемъ дъйствіи «Бъсовъ», хорошо извъстно. Это было убійство студента Иванова Нечаевымъ и его товарищами. Нетрудно также узнать въ образахъ отца и сына Верховенскихъ, а также въ образъ писателя Кармазинова, реальныхъ лицъ: Грановскаго, Нечаева и Тургенева, изъ коихъ двое первыхъ фигурируютъ даже въ рукописныхъ запискахъ Достоевскаго къ роману подъ ихъ собственными именами. А. Долинину недавно удалось показать, что даже такая подробность, какъ разсказъ Шатова о его и Кириллова приключеніяхъ въ Америкъ почти дословно заимствованъ Достоевскимъ изъ журнальной статьи, въ которой описывалось путешествіе двухъ русскихъ студентовъ въ Америку, имъ въ романъ пародируемое. Однако Достоевскій не ограничивается только фактами, заим-

изъ внъщнихъ источниковъ. ствованными имъ Онъ надъляетъ своихъ героевъ также и чертами, взятыми имъ изъ личнаго опыта. Такъ Петръ Верховенскій есть, по его собственнымъ словамъ, не только Нечаевъ, но «отчасти также Петращевскій», къ революціонному кружку котораго Достоевскій принадлежаль въ своей юности. Отцу Верховенскому Достоевскій вложиль въ уста безспорно много изъ того, что онъ слыщалъ или во всякомъ случат могъ слышать отъ Бтлинскаго, тъмъ болъе, что какъ разъ во время писанія «Бъсовъ» онъ съ особенной остротой переживалъ какъ бы возстаніе противъ «открывщаго» его когда-то критика. Извъстно также, что одна изъ бесъдъ Кармазинова есть прямая пародія на разговорь Тургенева съ Достоевскимъ, о которомъ послѣдній въ свое время съ возмущеніемъ писалъ въ одномъ изъ своихъ писемъ Майкову. Описаніе «нашихъ» (революціонеровъ) въ «Бѣсахъ» полно чертами (какъ напримъръ увлечение идеями Фурье), которыя гораздо болъе подходятъ къ кружку Петращевскаго, чемъ къ нечаевцамъ, хотя съ другой стороны пониманіе революціи Верховенскимъ-сыномъ почти дословно совпадаетъ съ «Катехизисомъ революціи» Нечаева.

Вполнѣ понятно поэтому, что изслѣдователи Достоевскаго давно уже подняли вопросъ объ эмпирическомъ прототипѣ главнаго героя «Бѣсовъ». Безспорно, образъ Ставрогина выдѣляется среди всѣхъ другихъ мужскихъ образовъ романа (включая даже Шатова и Кириллова) тѣмъ, что въ немъ трудно уловить даже малѣйщія черты какой бы то ни было карикатуры или даже только ироніи. Только самому себѣ иногда кажется Ставрогинъ «смѣшнымъ», но не другимъ героямъ романа и ужъ менѣе всего читателю, которому онъ представляется чисто трагическимъ героемъ. Отсюда его «загадочный», даже «фантастическій» характеръ, какъ

бы выдъляющій его среди другихъ, болѣе эмпирическихъ героевъ. А между тъмъ безспорно, что Достоевскій не только взяль своего героя «изъ своего сердца», какъ онъ самъ однажды говоритъ, но и изъ личныхъ своихъ воспоминаній. Болье того, изъ всѣхъ героевъ «Бѣсовъ» Ставрогинъ является, пожалуй, наиболъе точнымъ изображениемъ соверщенно конкретной исторической личности. Первоначальное предположение, что прототипомъ Ставрогина былъ М. Бакунинъ, представляется теперь уже всъми оставленными. Л. Гроссманъ, выставивщій это предположеніе, самъ въ сущности уже отказался отъ него въ своихъ послѣднихъ работахъ. Если даже и вѣрно, что отнощеніе Николая Ставрогина къ революціонерамъ напоминаетъ отношеніе Бакунина къ нечаевскому кружку, если иные черты Бакунина, какъ напримъръ его славянофильство, воспроизведены въ образъ Ставрогина, то все же нынъ является уже соверщенно безспорнымъ, что эмпирическимъ прототипомъ Ставрогина быль Николай Спешневь, члень кружка петра-щевцевь, съ которымъ Достоевскій находился въ тъсныхъ личныхъ отнощеніяхъ, называя его «своимъ Мефистофелемъ». Въ образъ Ставрогина личное воспоминаніе возобладало такимъ образомъ надъ «тенденціей», какъ и вообще послѣдняя совершенно стущевывается въ характеристикъ Ставрогина. «Поразило меня тоже его лицо: воло-сы его были что-то ужъ очень черны, свътлые глаза его что-то ужъ очень спокойны и ясны, цвътъ лица что-то ужъ очень нъженъ и бълъ, румянець что-то ужъ слишкомъ ярокъ и чисть, зубы какъ жемчужины, губы какъ коралловыя, казалось бы, писаный красавець, а въ то же время какъ-будто и отвратителенъ. Говорили, что лицо его напоминаетъ маску». Достаточно только сравнить это описаніе Ставрогина въ романъ съ сохранивщимся портретомъ Спещнева, чтобы сра-

зу же узнать въ Спешневѣ эмпирическій прототипъ Ставрогина. Да и описанія Спещнева его современниками вполнъ соотвътствують тому, что говорить Достоевскій о Ставрогинъ. «Уменъ, богатъ, образованъ, хорощъ собою, наружности самой благородной, далеко не отталкивающей, хотя и спокойно холодной, вселяющей довъріе, какъ всякая спокойная сила, — джентельменъ съ ногъ до головы. Мужчины не могутъ не увлекаться, онъ слишкомъ безстрастенъ и, удовлетворенный собой и въ себъ, кажется не требуетъ ничьей любви; зато женищины, молодыя и старыя, замужнія и незамужнія, были и, пожалуй, если онъ захочеть, будуть отъ него безъ ума... Спешневъ очень эффектенъ: онъ особенно хорощо облекается мантіей многодумной, спокойной непроницаемости». По слсвамъ того же Бакунина, Спешневъ, какъ и Ставрогинъ, умълъ внушать къ себъ довъріе, «всъ отзывались о немъ съ больщимъ уваженіемъ, хотя и безъ всякой симпатіи», и это несмотря на всѣмъ извѣстные слухи о его распущенной жизни за границей и о будто бы причиненномъ ими самоубійствъ его жены. Точно такъ же и характеристика Спешнева, им вощаяся въ актахъ сл вдственной комиссіи по дѣлу петрашевцевъ, во всѣхъ подробностяхъ вполнѣ подходитъ къ Ставрогину. «Спещневъ, гордый и богатый, видя самолюбіе свое неудовлетвореннымъ, желаль играть роль между своими воспитанниками (какъ и Ставрогинъ онъ воспитывался въ лицеѣ). Онъ не имѣлъ глубокаго политическаго убѣжденія, не быль исключительно пристрастень ни къ одной изъ системъ соціалистскихъ, не стремился, какъ Петрашевскій, постоянно и настойчиво къ достиженію либеральныхъ своихъ цѣлей; замыслами и заговорами онъ занимался какъ бы отъ нечего дѣлать; оставляя ихъ по прихоти, по лѣни, по какому-то презрѣнію къ своимъ товарищамъ, слишкомъ, по мнѣнію его, молодымъ или малообразованнымъ, — и вслѣдъ за тѣмъ готовъ былъ приняться опять за прежнее, приняться, чтобы опять оставить». По тѣмъ же даннымъ и интересовался онъ больще проблемой атеизма, чѣмъ соціальными проблемами.

Если такимъ образомъ вопросъ объ эмпирическомъ прототипъ Ставрогина можетъ въ настоящее время почитаться достаточно выясненнымъ, то совсъмъ иначе обстоитъ дъло съ философскимъ содержаніемъ образа Ставрогина. Вопросъ о мѣстѣ, которое главный герой «Бъсовъ» занимаетъ въ метафизическомъ планъ дъйствія романа, остается до сихъ поръ еще нерѣшеннымъ, а опубликованная недавно «Исповъдь Ставрогина» еще болъе обострила споръ объ идеологическомъ смыслѣ этого загадочнаго героя Достоевскаго. Между темъ для самого Достоевскаго герой его быль прежде всего воплощеніемъ идеи. «Идея обхватываетъ и владѣетъ имъ», говоритъ Достоевскій въ своихъ запискахъ, «но имъетъ то свойство, что владычествуеть въ немъ не столько въ головъ его, сколько воплощаясь въ него, переходя въ натуру, всегда со страданіемъ и безпокойствомъ и, уже разъ поселившись въ натурѣ, требуетъ и немедленнаго примѣненія къ дѣлу». На этомъ именно основаніи и говорилъ про Ставрогина Достоевскій: «Весь этотъ характеръ записанъ у меня сценами, дъйствіемъ, а не разсужденіями; стало быть, есть надежда, что выйдеть лицо» *). Ибо подлинное лицо есть у Достоевскаго всегда воплощение идеи, проявляющейся однако какъ метафизическая сила во всемъ образъ дъйствій даннаго лица, а не въ одномъ только его мышленіи или его словахъ.

^{*)} Ср. Матеріалы къ «Бѣсамъ» въ т. VIII собранія сочиненій изд. 1906 г., стр. 559, и Письма, 11, 289.

Ставрогинъ не только главный герой «Бѣсовъ», но и центральная въ немъ фигура, «солнце», вокругъ котораго вращаются всѣ другіе образы романа. Только черезъ отношенія къ нимъ понимаемъ мы вполнъ его образъ, точно такъ же какъ и всъ другія лица романа въ немъ находять свое послѣднее объяснение. Это видно уже изъ отношения Ставрогина къ его воспитателю Верховенскому. Онъ имъетъ со Степаномъ Трофимовичемъ то общее, что оба они «оторвались отъ почвы», отошли отъ народа, не имъютъ корней въ народной жизни. Они въ извъстной мъръ суть порожденія петровской революціи, вырывшей трагическую пропасть между народомъ и интеллигенпіей. Они относятся къ тъмъ многочисленнымъ русскимъ людямъ, которые, будучи не въ силахъ найти свое мъсто въ мірѣ, такъ часто кончаютъ свою жизнь «лишними людьми». Какъ говорить Достоевскій позднѣе въ своей пушкинской ръчи, Пушкинъ былъ первый, кто ясно понялъ и какъ бы открылъ это характерное для всей послъ-петровской Россіи «поколънія странниковъ», которое онъ и изобразилъ въ лицъ Алеко и Онъгина. Послъ Пушкина типъ оторвавшагося отъ почвы и парализованнаго въ своей волѣ, ненаходящаго себѣ мѣста въ мірѣ интеллигента, сталъ излюбленнымъ типомъ русской литературы XIX въка. Въ Ставрогинъ онъ получилъ свое самое трагическое и философски самое глубокое воплощеніе. Версиловъ уже уступаетъ ему по силъ и трагичности, а Иванъ Карамазовъ, являющійся какъ бы послѣднимъ въ ряду этого «поколѣнія странниковъ», выходить уже изъ рамокъ этого чисто русскаго типа и вырастаетъ въ образъ общечеловъческаго метафизическаго значенія.

Подобно своему духовному отцу Степану Тро-

фимовичу, и Николай Ставрогинъ — отщепенецъ, еретикъ въ первоначальномъ смыслѣ этого слова (αἵφεσις), и какъ таковой — отвлеченный, разсудочный человѣкъ. Однако онъ представляетъ собою уже какъ бы второе поколѣніе этого типа людей, разсудочность утрачиваеть въ немъ свою первоначальную наивность. Ставши предметомъ рефлексіи и самокритики, она становится у него нечастьемъ, горемъ отъ ума. Комическое Верховенскаго становится у Ставрогина трагическимъ. Тогда какъ старикъ Верховенскій съ наивностью просвѣщенца въритъ въ идеалы добра и красоты и можетъ воодушевляться ими, то Ставрогинъ уже подточенъ невъріемъ. Туманный, отвлеченный деизмъ перваго превращается у него въ атеизмъ. Тогда какъ Верховенскій вѣритъ въ прогрессъ, будучи воодущевленнымъ поклонникомъ западной культуры, для Ставрогина Европа есть уже не что иное, какъ «дорогое кладбище». Если Верховенскій совершенно не сознаетъ всей легкомысленности своего приживальщическаго существованія на счетъ русскаго народа, а духовно на счетъ Запада, то у Ставрогина «скука и лѣнь русскаго барича» пріобрѣтають уже размѣры развратной праздности, не останавливающейся даже передъ преступленіемъ. Невинные «малыя грѣшки» воспитателя усу-губляются у «принца Гарри» въ загадочную и мрачную «жизнь великаго грѣшника», вполнѣ яс-но сознающаго уже грѣховность своего существо-ванія. Тогда какъ невинный, почти что дѣтскій оптимизмъ перваго заставляетъ его однажды, въ моментъ глубокаго духовнаго прозрѣнія, про себя самого сказать: «Другь мой, я всю жизнь свою лгалъ, даже когда говорилъ правду», — то Ставрогинъ уже точно знаетъ, что вся жизнь его есть обманъ и ложь, что даже его покаяніе есть не что иное, какъ только маска его презрвнія къ людямъ и его вызывающей гордости. Быстро утъщаясь,

старикъ Верховенскій не замѣчаетъ того, какъ онъ съ каждымъ годомъ все болѣе засасывается бытомъ. Напротивъ, Ставрогинъ остается непримиримымъ въ своемъ несчастномъ одиночествъ, которое носить у него характеръ сознательнаго уединенія. Никакъ нельзя представить себъ его плачущимъ. Старикъ Верховенскій, напротивъ, изображенъ плаксивой бабой — комическая транспозиція благодатнаго «дара слезнаго», который Достоевскій такъ высоко цѣнилъ. Безплодіе и полное безсиліе пребывающаго въ абстракціяхъ воодушевленія Верховенскаго вырождается у Ставрогина уже явно въ «чистое отрицаніе», отрицаніе «безо всякаго великодущія и безо всякой силы», лишенное всякой любви, въ томъ числѣ даже любви къ дальнему, и вполнъ сознающее это свое собственное небытіе. Тѣмъ, что разумъ у Ставрогина утратилъ свою наивность и сталъ предметомъ саморефлексіи, онъ разложилъ себя, какъ начало жизни, и сдѣлался уже началомъ смерти.

Это сознаніе потерянности уединивщагося въ себъ самомъ разума составляетъ существенную черту характера Ставрогина. Ею онъ и отличается прежде всего отъ своихъ либерально-оптимистическихъ отцовъ. Плѣнникъ своего отвлеченнаго разума, онъ отталкивается отъ разума. Невърующій, онъ стремится къ въръ, хочеть ее, онъ непрерывно колеблется между безвъріемъ и желаніемъ въры, и такъ какъ къ необходимости въры приводить его все тоть же разумь, то его желаніе вѣры носитъ разсудочный и «надрывный» характеръ. Образы Кириллова и Шатова воплощаютъ въ себъ это основное противоръчіе Ставрогинской дущи. Въ нихъ Ставрогинъ «созерцаетъ себя, какъ въ зеркалѣ». Оба они върятъ въ него, «не могутъ вырвать его изъ своего сердца», думаютъ, что слѣдують только его идеямъ. Воть Кирилловъ, котораго «съѣла его идея». Онъ вѣритъ или, вѣрнѣе,

онъ чувствуетъ себя «обязаннымъ върить, что онъ не въритъ». Онъ весь охваченъ своимъ невъріемъ и дѣлаетъ изъ него всѣ выводы, не останавливаясь ни передъ чѣмъ въ своемъ атеистическомъ восторгь: прямая противоположность Ставрогину, который правильно про себя говорить: «Я никогда не могу потерять разсудокъ и никогда не могу повърить идеъ въ той степени, какъ онъ». Кирилловъ въритъ въ абсолютную мощь разума. «Чело въкъ несчастливъ», говорить онъ, «потому, что не знаеть, что онъ счастливъ; только потому». «Надо имъ узнать, что они хороши, и всѣ тотчасъ же станутъ хорощи, всѣ до единаго». «Кто научитъ, что всѣ хороши, тотъ міръ закончитъ», по вѣрѣ Кириллова. Онъ есть какъ бы чистое воплощеніе разума, этого, по словамъ Достоевскаго, «чисто человъческаго начала въ человъкъ». Поэтому идеи Кириллова и есть ни что иное, какъ абсолютированіе человѣка. Онъ вѣрить «не въ будущую вѣч-ную жизнь, а въ здѣшнюю вѣчную». Человѣкъ для него довлѣетъ себѣ, и онъ чувствуетъ себя одинокимъ въ мірѣ со своей «страшной свободой». «Время для него не предметь, а идея: погаснеть въ умѣ». «Своеволіе» есть аттрибуть его человѣкобога. Вполнъ послъдовательно выводить онъ изъ этого абсолютнаго уединенія человѣка самоубійство, какъ средство «показать своеволіе», какъ практическое осуществление опустошеннаго «я», въ которомъ нѣтъ уже ничего другого, которое въ полной мѣрѣ «поставило свое дѣло на ничто». Но здѣсь какъ разъ мы наталкиваемся на ограниченность разума и безвѣрія. Кирилловъ самъ чувствуетъ эту ограниченность, но охваченный своей идеей, не хочеть ее видъть. «Я не понимаю, какъ могъ до сихъ поръ атеистъ знать, что нътъ Бога, и не убить себя тотчасъ же. Сознать, что нътъ Бога, и не сознать въ тотъ же разъ, что самъ Богомъ сталъ, — есть нелъпость, иначе непремънно убъешь

себя самь. Если сознаешь — ты царь, и уже не убьешь себя самъ, а будешь жить въ самой главной славъ. Но одинъ, тотъ, кто первый, долженъ убить себя самъ непремѣнно, иначе кто же начнетъ и докажеть? Это я убью себя самъ непремѣнно, чтобы начать и доказать. Я еще только богь поневолѣ, и я несчастенъ, ибо обязанъ заявитъ своеволіе». Этой обязанностью, которую чувствуеть Кирилловъ, онъ все же связанъ съ другими людьми вопреки своему уединенію. Ставрогинъ ясно видить этоть разладь и противоръче внутри Кириллова. «Великодушный» и «хорошій» Кирилловъ чувствуеть себя обязаннымо доводами разума преодолѣть свой страхъ, которымъ онъ все еще остается привязаннымъ къ міру и къ Богу. Вотъ это воодушевленіе Кириллова, котораго предметомъ только является разумъ, но которое менъе всего разсудочно, его-то и недостаетъ Ставрогину. Ставрогинъ безсиленъ даже утверждать свое невъріе. Будучи «чистымъ отрицаніемъ», онъ «не можетъ никогда воодущевиться идеей». Онъ-то видить, что невъріе Кириллова только тонкой перегородкой отдѣлено отъ вѣры въ Бога. Поэтому онъ болѣе невѣрующъ, чѣмъ Кирилловъ. Онъ не вѣритъ не только своимъ разумомъ, какъ это дѣлаетъ Кирилловъ, но, въ отличіе отъ последняго, не веритъ сердцемъ своимъ и волей, будучи лишенъ всякой любви и восторга. Не въря всъмъ своимъ существомъ, онъ, напротивъ, разумомъ сознаетъ границы невърія, необходимость въры, къ которой толкаетъ его его разумъ, онъ принимаетъ даже Бога своимъ разумомъ, но именно потому его атеизмъ, атеизмъ сердца, во много разъ превосходитъ чисто разсудочный атеизмъ Кириллова.

Эту именно надрывную, разумомъ навязанную вѣру въ Бога, воплощаетъ Шатовъ. Онъ тоже поклонникъ и ученикъ Ставрогина, несмотря на все возмущение свое противъ учителя. Шатовъ

утверждаеть, что онь повторяеть только слова Ставрогина, «воскресившаго его изъ мертвыхъ». «Никогда», утверждаеть онь, «разумь не въ силахъ былъ опредълить зло и добро, или даже отдълить зло отъ добра, хотя бы приблизительно». На этомъ именно основаніи онъ отрицаеть соціализмъ, который есть для него ни что иное, какъ атеистическая «попытка построить міръ единственно на началахъ разума и науки». Онъ видитъ, атеизмъ коренится въ оторванности атеиста отъ народа, отъ почвы, и онъ умоляетъ Ставрогина: «цѣлуйте землю», «добудьте Бога трудомъ, мужицкимъ трудомъ». Въ возвращении къ народу, который есть для него «тело Божье», видить онъ единственный еще остающійся Ставрогину путь спа сенія. Русскій народъ есть единственный народъбогоносецъ, и въ своей ненависти къ мертвой Европѣ заходить Шатовъ такъ далеко, что видитъ въ католицизмъ родоначальника атеизма и соціализма. Для него католицизмъ вообще гораздо хуже атеизма. Въ этомъ отнощеніи отъ идетъ гораздо дальще славянофиловъ, съ которыми, по словамъ Ставрогина, у него то общее, что и онъ также подмѣняетъ утраченную непосредственную вѣру желаніемъ вѣры, будучи только, какъ и они, богоискателемъ, жаждущимъ въры. На слова Ставрогина, что онъ низводитъ Бога до аттрибута народности, Шатовъ отвѣчаеть: «Напротивъ, я народъ возношу до Бога». Поэтому-то забота о народѣ превозмогаетъ въ немъ заботу о Богъ. Онъ абсолютируетъ народъ, точно такъ же, какъ Кирилловъ абсолютируетъ разумъ. Ставрогинъ, сильный воодушевиться какой-нибудь идеей, не раздѣляетъ этого воодушевленія Шатова, этой его въры въ народъ». «Въ Россіи я ничъмъ не связанъ», говорить онъ, «въ ней мнѣ все такъ же чужое, накъ и вездъ. Онъ даже «не могъ въ ней пичего возненавидѣть». Поэтому въ словахъ Шатова, воз-

вращающаго ему его собственные разсудочные доводы въ пользу въры, онъ слышить только надрывность этой въры, несмотря на всю страстность шатовскаго исканія. «Я хотѣлъ лишь узнать, спросиль онъ Шатова, сурово посмотръвъ на него, въруете вы сами въ Бога или нътъ? — Я върую въ Россію, я върую въ ее православіе... Я върую въ тъло Христово... Я върую, что новое пришествіе совершится въ Россіи... Я върую, заленеталъ въ изступленіи Шатовъ. — А въ Бога, въ Бога? — Я... Я буду в ровать въ Бога». Если по отнощенію къ Шатову можно примънить извъстныя слова Пас-каля о томъ, что «кто Меня ищетъ, тотъ уже владъетъ Мною», то Ставрогинъ не ищетъ Бога, зная уже, что онъ Его никогда не найдетъ. Невъріе Кириллова, видъли мы, было чисто разсудочнымъ невъріемъ, къ которому, въ послъдней глубинъ его существа, примъшивалась въра въ Бога. Наоборотъ, въра Шатова слишкомъ разсудочная въра, подтачиваемая изнутри невъріемъ. Его любовь и ненависть превозмогають однако его сомнънія, Ставрогинъ же, напротивъ, «ни холоденъ ни горячъ». Онъ ничего не можетъ противопоставить своимъ сомнѣніямъ, ибо сердце его исполнено безразличія. «Если я недостаточно върую, то, значить, я вообще не върую», говорить онъ про себя. Въ отличіе отъ Кириллова, котораго събла его идея, Ставрогинъ разъеденъ идеей. «Ставрогинъ, если въруетъ, то не въруетъ, что онъ въруетъ», говорить про него Кирилловь. «Если же не вѣруеть, то не въруеть, что онъ не въруеть». Поэтому онъ и осужденъ постоянно качаться между невъріемъ и желаніемъ вѣры. Отрицаніе, нашедшее въ немъ свое воплощеніе, такъ и осуждено было остаться «безъ всякаго великодушія и безъ всякой силы». «Даже отрицанія не вылилось», признается онъ самъ въ последнемъ письме къ Даше. Изъ

«двухъ возможностей» — върить или сжечь — онъ

не въ силахъ былъ даже избрать второй.

Что онъ стоялъ передъ этимъ выборомъ, и что его невъріе часто понуждало его къ тому, чтобы избрать эту вторую возможность, — объ этомъ свидътельствуетъ отношение Ставрогина къ революціонерамъ и къ ихъ предводителю Петру Верховенскій венскому. Отъ своего отца Петръ Верховенскій унаслѣдовалъ убѣжденіе, за которымъ однако не стоить уже болѣе никакого воодущевленія, а только самый беззастънчивый цинизмъ. Въ той самой мъръ, въ какой воодущевление выродилось у него въ цинизмъ безсильная мечтательность его отца уплотнилась у него въ действенный фанатизмъ. Петръ Верховенскій всегда въ движеніи. Онъ ходитъ и движется очень торопливо, но никуда неторопится. Кажется, ничто не можетъ привести его въ смущеніе; при всякихъ обстоятельствахъ и въ какомъ угодно обществъ онъ останется тотъ же. Въ немъ большое самодовольство, но самъ онъ его въ себѣ не примѣчаетъ нисколько. Говорить онъ скоро, торопливо, но въ то же время самоувѣренно и не лѣзетъ за словомъ въ карманъ. Его мысли спокойны, несмотря на торопливый видъ, отчетливы и окончательны, — и это особенно выдается. Выговоръ его удивительно ясенъ; слова его сыплются, какъ ровныя, крупныя верхушки, всегда подобранныя и всегда готовыя къ вашимъ услугамъ». Активность какъ бы совершенно закупорила въ немъ всякую созерцательность и вообще всякую духовность, онъ и описанъ Достоевскимъ, какъ чистый механизмъ дѣйствія. Мелкимъ чертамъ его соотвѣтствують короткія мысли и плоскость всего его существа. Нътъ въ немъ импонирующаго, хотя и пустого, достоинства его отца. Идеи интересуютъ его мало. Онъ расцъниваеть ихъ лищь какъ орудіе действія, да у него и неть никакихъ собственныхъ идей, это всѣ чужія идеи, но «какъ все это

искажено, исковеркано», какъ въ ужасѣ восклицаеть Степанъ Трофимовичъ. Отцовскій либерализмь выродился у него въ послѣдовательное и безшабащное отрицаніе всѣхъ цѣнностей. Добро, Красота, Святое, даже самая Истина, — все это для него лишь порожденія Пользы. Въ атеизмъ его нътъ уже ничего отъ глубокой проблематики Кириллова, почему онъ и неизбѣжно вырождается въ простое богохульство. Свобода есть для него давно уже ни что иное, какъ сентиментальная иллюзія, почему онъ и замѣнилъ ее рабскимъ равенствомъ. Отвлеченная любовь къ человъчеству дошла у него до своего логическаго конца, выродившись въ циническое презрѣніе къ народу, въ которомъ онъ видитъ лишь простое удобрение революціи. Убійство, грабежь, поджогь, всѣ средства хороши для поставленной имъ себъ цъли. Но самая-то цѣль, ихъ освящающая, — о пей Петръ Верховенскій предпочитаеть вообще не думать. « Филантропами » презрительно обзываеть всѣхъ тѣхъ, кто тратять время на размышл нія о будущемъ строъ. Новый міръ построится ужъ какъ нибудь самъ собой, послѣ разрущенія стараго міра. Сейчась все дѣло въ разрушеніи, на которое и должны быть направлены всѣ усилія. Отвлеченное отрицаніе, на дрожжахъ котораго выросъ безпочвенный раціонализмъ отцовъ, породило здѣсь какъ свой плодъ реальное отрицаніе, разрушеніе и уничтоженіе. Если у отцовъ было міровоззрѣніе, то у сына Верховенскаго есть только программа, да и программа эта съ теченіемъ времени стянулась въ одну тактику. Для этого въ голую тактику изсякшаго міровоззрѣнія нуженъ еще только одинъ талантъ — талантъ нахрапа. Петръ Верховенскій, который, какъ никто другой, обладаеть этимъ «даромъ бездарности», есть чистое воплощеніе отвлеченности разума, выродившейся въ чистое отрицаніе.

И все же, діалектика отрицанія ставить передъ нимъ необходимость подчиниться какому-то авторитету, хотя бы и вымышленному имъ самимъ. Сынъ Верховенскій принимаеть систему Шигалева, которая, «исходя изъ безграничной свободы, приходить къ безграничному деспотизму», въ которой «убито всякое желаніе, только необходимое позволено», а «горе и воля» разрѣшены только «властвующей одной десятой». Такъ нигилистъ и атеистъ жаждетъ поклониться идолу, богохульникъ становится идолоискателемъ, если не идолопоклонникомъ. Но если Ставрогина толкаетъ желать въры въ Бога его разумъ, то Петра Верховенскаго влечеть поклониться идолу его безудержная активность. Разуму, изсякшему до простой тактики, болѣе всего и соотвѣтствуетъ ложный богъ богъ скрытый, не открывающій себя людямъ, но дъйствующій тайно, вынуждающій себъ неніе насильно, чудесами, а не привлекающій къ себъ людей, какъ свободныя существа, одной только чисто духовной силой явленнаго имъ нравственнаго идеала.

Верховенскій влечется нъ Ставрогину, какъ къ своему Ивану-Царевичу, потому что онъ чувствуеть въ немъ всё тё дары Антихриста, въ которыхъ онъ нуждается, и которыхъ у него самого нётъ. «Я люблю красоту», говоритъ онъ Ставрогину, «я нигилистъ, но люблю красоту. Развё нигилисты красоту не любятъ? Они только идоловъ не любятъ, ну, а я люблю идола! Вы мой идолъ! Вы никого не оскорбляете, и васъ всё ненавидятъ; вы смотрите всёмъ ровней, и васъ всё боятся, это хорошо. Нъ вамъ никто не подойдетъ васъ потрепать по плечу. Вы ужасный аристократъ! Аристократъ, когда идетъ въ демократы, обаятеленъ! Вамъ ничего не значитъ пожертвовать жизнью, и своей, и чужою. Вы именно таковъ, какого надо. Мнё, мнё именно такого надо, какъ вы. Я никого,

кромѣ васъ, не знаю. Вы предводитель, вы солнце, а я вашъ червякъ....» Въ Ставрогинѣ Петра Верховенскаго восхищаетъ не только его «изумительная способность къ преступленію», за которой стоить полное безразличіе къ добру и злу, и которой онъ самъ обладаетъ въ высокой степени, но великол впіе этого дара у Ставрогина, какъ бы полная его безкорыстность, демоническая сила, излучаемая Ставрогинымъ и соверщенно отсутствующая у него, человъка пользы. Онъ тоже не останавливается ни передъ какимъ преступленіемъ, но онъ дѣлаетъ это изъ соображеній разсудочной пользы, тогда какъ Ставрогинъ совершаетъ свои преступленія даже безъ всякаго умысла, какъ своего рода геній въ кантовскомъ смыслѣ, какъ бы нѣкая природная сила, не знающая, что она творитъ. Впрочемъ, Ставрогинъ сознаетъ свои преступленія, и трагическое его образа состоить какъ разъ въ томъ, что демонъ его стоитъ выще всякой пользы, и что никакія уталитаристическія соображенія не могутъ его обмануть относительно истиннаго характера его существа, не могутъ заглушить въ немъ сознанія собственной гибели. Ставрогинъ навѣки осужденъ созерцать разумомъ безвѣріе своего сердца, почему разумъ и толкаетъ его къ тому, чтобы желать въры. Въ этомъ именно и заключается его крестный путь, ознаменованный въ его имени (σταυςος): ему недостаетъ любви, которая есть единственный источникъ истинной въры, и онъ самъ сознаетъ это соверщенное отсутствіе себѣ любви. Если зло дѣйствуетъ въ Петрѣ Верховенскомъ разлагающе, то въ Ставрогинъ оно само уже внутренне разложено и потому оно у него болъе созерцательно, чъмъ активно, дъйствуеть темь, что привлекаеть, а ни орудуеть. Поэтому также, если Ставрогинъ есть идолъ Верховенскаго, то этотъ последній — ни что иное, какъ «обезьяна» Ставрогина. Глубоко правильно

опредълилъ Вячеславъ Ивановъ Петра Верховенскаго какъ ставрогинскаго Мефистофеля, а Ставрогина — какъ отрицательнаго русскаго Фауста, — «отрицательнаго потому, что въ немъ изсякла любовь, а съ изсякщей любовью и то стремленіе, которымъ спасается Фаустъ» *). Объ «ночи», когда Ставрогинъ соблазняется своимъ Мефистофелемъ и смотрится въ него какъ бы въ свое зеркало, занимаютъ въ композиціи «Бъсовъ» центральное мъсто. Весь характеръ Ставрогина и его судьба уже вполнъ опредълены здъсь.

3.

«Никогда никого не могу я любить», признает-ся Ставрогинъ въ своей «Исповѣди», и эта неспособность его любить проявляется въ особенно яркой формъ въ его отнощеніи къ женскимъ образамъ романа. Сынъ своенравной и деспотической генеральши Ставрогиной, тайнымъ бракомъ женатый на безумной Маріи Лебядкиной, любовникъ гордой и страстной Лизы, онъ «безцѣннымъ другомъ своимъ» имѣетъ «нѣжную и великодущную» Дашу, воспитанницу его матери и сестру Шатова. При этомъ однако онъ ни сынъ, ни супругъ, ни любовникъ, ни другъ, ему недостаетъ любви, чтобы это его внъшнее отношеніе къ близко стоящимъ къ нему женщинамъ сдѣлалось конкретнымъ и живымъ отношеніемъ. Отношеніе его къ нимъ отвлеченно и мертво, не только внутренне раздвоено, но и пропитано все обманомъ и ложью. Всъ четыре женщины живуть имъ, любять его до самозабвенія, и все же онъ внущаетъ имъ столько же смертнаго страха, сколько и любви. Ихъ любовь проявляетъ

^{*)} Ср. статью его — «Достоевскій и романъ-трагедія». Борозды и Межи, М. 1916. — Эта замѣчательная статья включена Вяч. Ивановымъ въ недавно вышедшую по-нѣмецки его книгу: W. I v апо v. Dostoevskii. Tubingen 1932, — пожалуй, самое значительное, что написано о Достоевскомъ.

наружу всю двойственность его природы: его оторванность отъ Бога и его горькое сознаніе этого отпада. Страстная и наивная Лиза мечтаеть его спасти своей любовью, вдохнуть въ него снова жизнь своей страстью, но наталкивается на такое безразличіе дущи, что одной ночи оказалось достаточнымъ для того, чтобы ея мечта разсѣялась, какъ «опереточная иллюзія». «Мнѣ всегда казалось», говорить она, «что вы заведете меня въ какое-нибудь мъсто, гдъ живеть огромный злой паукъ въ человъческій рость, и мы тамъ всю жизнь будемъ на него глядъть и его бояться, въ томъ и пройдеть наша взаимная любовь». Даща тоже вполнъ сознаетъ, какая перспектива ее ожидаетъ, хотя любовь ее и ее въра питаютъ въ ней надежду, что смиреніе ее и терпті въ концт концовъ превозмогуть безразличіе Ставрогина, и она сможеть ему «возставить цѣль». На этотъ разъ однако самъ Ставрогинъ не вынесъ перспективы «жизни въ Ури». Онъ чувствуетъ, что въ своемъ абсолютномъ уединеніи онъ не только не можетъ ничего дать, но и ничего взять отъ Даши, какъ бы ни была прекрасна и дъйственна ея любовь. «Вникните тоже, что я васъ не жалъю, коли зову, и не уважаю, коли жду. А между тъмъ и зову и жду», — пищеть онъ Дашъ. Онъ находитъ въ себъ силы отказаться отъ обмана такой любви безъ жалости и безъ уваженія, и изъ гордости въ концъ концовъ выбираетъ онъ второй путь, тоже обманный, — «показать великодушіе», котораго у него на дѣлѣ нѣтъ. Гордость заставляеть его все же избрать этоть второй путь - самоубійства. Настолько хватило въ немъ всетаки силы, чтобы мгновенную смерть предпочесть медленному умиранію.

Это безсиліе Ставрогина выйти изъ обмана, въ которомъ онъ пребываетъ, пріобрѣтаетъ глубокій символическій смыслъ въ отнощеніи Ставрогина къ Хромоножкѣ. Дѣвственная дуща тайной

жены Ставрогина заперта въ ея больномъ тѣлѣ, какъ въ темницъ. Сумасшедщая Марія Лебядкина тоскуеть по своемь возлюбленномь, по небесномъ своемъ князъ, который бы освободилъ душу ее отъ власти князя тьмы, искупиль бы ее невѣдо-мый грѣхъ своею любовью *). Ставрогинъ то представляется ей этимъ именно княземъ, то напротивъ она чувствуеть смертный гръхъ въ его присутствіи. Когда Ставрогинъ принимаетъ рѣшеніе объявить свой бракъ съ ней, то все, что онъ можетъ предложить ей — это безнадежность существованія, ничьмъ не отличающагося отъ той же медленной смерти. Изъ гордости и презрѣнія къ людямъ Ставрогинъ готовъ нести тяжесть своего каприза. Онъ готовъ наказать себя, но онъ не можетъ сострадать, не можеть нести бремени любви и стало-быть также и бремени жизни. Для этого онъ слишкомъ уединенъ, и нътъ въры въ его равнодушномъ сердцѣ. Онъ не только не въритъ разумомъ въ искупленіе и въ воскресеніе, но онъ отрицаетъ ихъ всѣмъ своимъ существомъ, не способенъ ни своимъ сердцемъ, ни своей волей пріобщиться къ нимъ. За маской «князя» и «сокола» Хромоножка ясно видитъ самозванца, «проклятаго Гришку Отрепьева», она не только видить ножъ въ карманъ, которымъ онъ убъетъ ее немощное тъло, но видитъ и его самаго, самозванца, осужденнымъ на гибель. «Прочь, самозванецъ, повелительно вскричала она, я моего князя жена, не боюсь твоего ножа». (Замъчательно, что не только герои романа, но и его истолкователи были введены въ заблуждение маской Ставрогина. Хотя самъ Достоевскій совершенно опредъленно говорить о своемъ героъ какъ о «мрачномъ явленіи», даже «злодѣѣ», большинство критиковъ Достоевскаго видятъ въ немъ не отри-

^{*)} Въ цитованной выше статъ (и книг в) В я ч. И в а н о в ъ даетъ глубокое истолкован представленнаго здъсь символа: въ Хромоножк символизована русская «мать-земля», ожидающая своего жениха и мучимая лже-княземъ и его бъсами.

цательный, а положительный образъ. Видъть зло изображеннымъ трагически такъ необычно, что и трагичность Ставрогина (а самъ Достоевскій называетъ Ставргина «трагической фигурой») пытаются истолковать какъ добро,подпадшее злу или судьбъ. На дълъ однако главнымъ героемъ метафизическаго дъйствія «Бъсовъ» является не добро, соблазненное зломъ, а самое зло, трагедія котораго и символизована въ образъ Ставрогина. Въ этомъ отношеніи «Бѣсы» представляють прямую противоположность «Братьямъ Карамазовымъ», имфющимъ своимъ предметомъ трагедію добра. Тогда какъ въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» добро изображено въ динамической схемъ своихъ восходящихъ ступеней, метафизическое дъйствіе «Бъсовъ» носить, напротивь, статическій характерь: отражается здъсь въ образахъ другихъ героевъ романа, которые кружатся вокругь него, какъ главнаго героя трагедіи, и эта статичность метафизическаго дъйствія еще усиливается отъ своего контраста съ напряженной динамикой эмпирическаго дъйствія романа. Сознаніе неисполненной любви, соединенное съ безсиліемъ любить, — въ этомъ адъ Ставрогина. Не только своимъ разумомъ, но всемъ своимъ существомъ не веритъ онъ въ Бога, отъ котораго отъ отпалъ, разорвавъ связь любви, коей всѣ существа связаны съ Богомъ и другь съ другомъ. Тъмъ, что онъ сознаеть этотъ собственный свой отпадъ отъ Бога, онъ преодолъваетъ самъ границы своего невърія, однако и это онь дълаеть только своимъ разумомъ, побуждающимь его желать въры и тъмъ самымъ еще остръе переживать свое собственное безсиліе любить и, слѣдовательно, върить. Подобно тому, какъ безпочвенность русскаго интеллигента потенцирована у Ставрогина въ отпадъ отъ Бога, точно такъ же и скука русскаго барича пріобрѣтаетъ у него размъры чисто люциферовской трагедіи. Типъ прижи-

вальщика и лишняго человъка, оторваннаго отъ народа и неимѣющаго собственной жизни, усугубляется въ образъ Ставрогина до двойничества, до чисто призрачнаго бытія, которое для Достоевскаго и есть бытіе зла. Зло, думаеть Достоевскій, живетъ всегда на чужой счетъ, какъ приживальщикъ, на счетъ добра, маску котораго оно принимаеть, и отраженнымъ свътомъ котораго оно обманываеть. У него нътъ собственной жизни, а есть только мнимая жизнь, видимость жизни. И, дфйствительно, сознаніе жизни вытѣснило у Ставрогина самое жизнь. Ставрогинъ живетъ въ своихъ отраженіяхъ или въ своихъ «бѣсахъ». «Или, вѣрнъе, другіе живуть имь, для него (вспомнимь о женскихъ типахъ романа) и «отъ него», а онъ самъ не живетъ, онъ нереаленъ, онъ только Самозванецъ въ дъйствительности и возможности, «Иванъ-царевичъ», «Грищка Отрепьевъ». Вѣдь за нимъ идутъ живые люди, принимающіе его за нѣчто совсѣмъ другое, чемъ онъ есть въ действительности. Ибо въ дъйствительности онъ «разсыпанъ», «двоится», безлико-многоликій, вселикій». Въ тоть моменть, когда сумасшедшая Марія Лебядкина распознаетъ Ставрогина какъ самозванца, его окончательно опредъляется. Раньше онъ думалъ еще, что чорть, являющійся ему, есть только галлюцинація, которую онъ сможеть отогнать напряженіемъ своей жизненной силы, теперь онъ видитъ въ немъ реальность, противъ которой онъ ничего уже не можетъ подълать. Съ этого момента Ставрогинъ въритъ въ чорта: сознавъ вполнъ свою неспособность върить въ Бога, онъ теряеть даже волю върить. Съ этого времени онъ уже обреченъ смерти. Подобно тому, какъ въра въ Бога и Христа для Достоевскаго есть дъло не разума, а любви, являющейся источникомъ жизни, точно такъ же и въра въ чорта и въ Антихриста есть для него ни что иное, какъ совершенное изсякновеніе любви и

омертвѣніе души, за которымъ слѣдуетъ и тѣлесная смерть. Даша видитъ это съ соверщенной ясностью, говоря Ставрогину: «Въ ту минуту, какъ вы увѣруете въ него, вы погибли».

4.

Какъ извъстно, эти слова Даши, какъ и все мъсто, гдъ Ставрогинъ разсказываетъ ей о своихъ галлюцинаціяхъ, выпущены Достоевскимъ изъ окончательнаго текста «Бѣсовъ», очевидно, потому, что онъ полагалъ, что мъсто это слишкомъ тѣсно связано съ «Исповѣдью», которая должна была за нимъ слъдовать, и только изъ связи съ последней можеть быть понято читателемъ. Въ самомъ дѣлѣ, «Исповѣдь Ставрогина», какъ и вся выпущенная глава «У Тихона», къ которой она относится, составляеть, на нашъ взглядъ, органическую часть «Бъсовъ», и если она и не представляетъ собой «кульминаціонной точки романа», какъ думаеть А. Долининъ, то все же она бросаеть яркій свъть на образъ Ставрогина, существенно восполняя его характеристику. Что Достоевскій выпустиль главу «У Тихона» противъ своей воли, слъдуя лишь категорическому настоянію Каткова, тогдашняго редактора «Русскаго Въстника», обстоятельство это столь же безспорно, какъ и то, что онъ впослъдствіи примирился съ этимъ пропускомъ и уже не думалъ возстанавливать въ отдъльномъ изданіи романа пропущенной главы. Не подлежить также сомнению, что этоть вынужденный пропускъ «Исповъди» существенно отразился на планъ романа, измънивъ первоначально предполагавшійся ходъ его д'єйствія. Изъ письма Достоевскаго къ Каткову отъ 8. Х. 1870 г. по поводу отсылки первой части «Бѣсовъ», мы узнаемъ въ точности, въ чемъ состояло это измѣненіе. Достоевскій предполагаль въ последней части романа

противопоставить «мрачнымъ фигурамъ» рядъ положительныхъ типовъ, среди которыхъ, въ частности, больщую роль должень быль играть епископъ Тихонъ, прообразомъ котораго Достоевскому служиль св. Тихонъ Задонскій. Уже тогда, во время писанія первой части «Бісовь», Достоевскому предносился возвышенный образъ «русскаго инока», нашедшій свое окончательное воплощеніе лишь десять лътъ спустя въ «Братьяхъ Нарамазовыхъ». Въ выпущенной главѣ «Бѣсовъ» образъ этотъ только бъгло намъченъ. Тихонъ не участвуетъ въ дъйствіи романа, стоитъ внъ изображенной въ немъ трагедін, и вся роль его сводится къ тому, чтобы еще ръзче оттънить черты главнаго героя, романа, ему столь противоположнаго. Что и самъ по себѣ идеальный образъ русскаго инока мало годился для того, чтобы быть активнымъ участникомъ дъйствія романа, видно изъ того, что въ послѣдующихъ поныткахъ образъ этотъ точно такъже остается внѣ дѣйствія трагедіи. Такъ въ «Подросткъ Макаръ Алексъевичь изображенъ странникомъ, появленіе котораго каждый разъ ярко освъщаеть и дъйствіе и героевь романа, но мало воздъйствуетъ на нихъ, и даже старецъ Зосима въ образъ котораго этотъ замыселъ писателя получилъ свое окончательное и совершенное воплощеніе, остается по ту сторону какъ эмпирическаго, такъ и метафизическаго дѣйствія изображенной въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» трагедіи, несмотря на все вліяніе, оказанное имъ на характеръ и судьбу ее, Алеши. Вынужденному младшаго героя пропуску «Исповѣди» изъ «Бѣсовъ» мы обязаны темь обстоятельствомь, что Достоевскій отказался отъ своего первоначальнаго замысла включить Тихона въ дъйствіе романа, и что «Бъсы» остались такимъ образомъ чистой трагедіей зла. Замыселъ Достоевскаго противопоставить злу «величавый образъ добра» отъ этого только выигралъ: за де-

сять лѣть, прошедшихь отъ «Бѣсовъ» до «Братьевъ Карамазовыхъ», образъ «русскаго инока» выросъ въ дущъ Достоевскаго, созрълъ и смогъ получить свое совершенное воплощение въ лицъ старца Зосимы. Съ другой стороны, у насъ нътъ никакихъ основаній предполагать, что пропускъ «Исповъ-ди» хотя бы въ чемъ-либо измѣнилъ характеръ и судьбу Ставрогина, какъ это полагають В. Комаровичь и А. Бемъ.. Утратилась не «возможность въ характеръ и судьбъ Ставрогина», будто-бы существовавшая въ умъ автора до вынужденнаго пропуска «Исповъди», но лишь включение въ общую канву «Бѣсовъ» того «ряда положительныхъ фи-гуръ», которое дѣйствительно составляло первона-чальный замыселъ писателя. Если Достоевскій въ концѣ концовъ примирился съ пропускомъ главы и не включилъ ее снова въ отдъльное изданіе романа, то только потому, что положительная идея, которую онъ хотѣлъ выразить въ образѣ «русскаго инока» была ему слишкомъ дорога, и онъ не хотълъ ее, по собственному своему признанію, испортить тъмъ бъглымъ изображеніемъ ее, которое только и дано въ пропущенной главѣ *). Такимъ образомъ онъ не возстановилъ этой главы ради не удовлетворящаго его въ ней образа Тихона, а не потому, что бы изображение Ставрогина въ ней противоръчило образу Ставрогина въ романъ. Онъ такъ сказать, пожертвовалъ Ставрогинымъ ради Тихона — будущаго Зосимы.

Въ самомъ дѣлѣ, предположеніе, что Достоевскій выпустилъ «Исповѣдь» «изъ внутреннихъ основаній» тѣсно связано съ опредѣленнымъ истолкованіемъ «Исповѣди». Изслѣдователи, защищающіе эту точку зрѣнія, видятъ въ «Исповѣди» искренній актъ покаянія и вѣры, открывающій, дѣйствительно, новую жизнь передъ героемъ романа въ

^{*)} Ср. письмо нъ Майкову отъ 9. X. 1870 — Письма, II, 291.

духѣ фабулы такъ и не написаннаго Достоевскимъ «Житія великаго гръщника», работа надъ которымъ была прервана «Бъсами». Однако нътъ ничего болъе превратнаго, чъмъ такое толкование. Прежде всего, оно ръзко противоръчить словамъ повъствователя «Бѣсовъ», безспорно выражающаго мнѣніе самаго автора. «Документь этоть, по-моему, говорить про «Исповъдь» повъствователь, дъло безполезное, дѣло бѣса, овладѣвщаго этимъ господиномъ. Похоже на то, когда страдающій острою болью мечется въ постели, желая найти положеніе, чтобы хотя на мигь облегчить себя. Даже и не облегчить, а лишь бы только замѣнить хотя на минуту прежнее страданіе другимъ. И туть уже разумъется не до красивости или разумности положенія. Основная мысль документа — стращная, непритворная потребность кары, потребность креста, всенародной казни. А между темь эта потребность креста все-таки въ человъкъ, не върующемъ въ кресть, — «а ужъ это одно составляеть идею», какъ однажды выразился Степанъ Трофимовичъ въ другомъ, впрочемъ, случаѣ. Съ другой стороны, весь документь въ то же время есть нъчто буйное и азартное, хотя и написанъ, повидимому, съ другою цѣлью. Авторъ объявляетъ, что онъ «не могъ» не написать, что онъ былъ «принужденъ», и это довольно в фроятно: онъ радъ бы миновать эту чашу, если бы могъ, но онъ дъйствительно, кажется, не могъ, и ухватился лишь за удобный случай къ новому буйству. Да, больной мечется въ постели и хочеть замѣнить одно страданіе другимъ, — и воть борьба съ обществомь показалась ему положеніемъ легчайшимъ, и онъ бросаетъ ему вызовъ. Дъйствительно, въ самомъ фактъ подобнаго документа предчувствуется новый, неожиданный и непочтительный вызовь обществу. Туть поскор ве бы только встрътить врага»...

То же самое думаеть объ «Исповѣди Ставроги-

на» и Тихонъ. «Если бы это дъйствительно было покаяніе и дъйствительно христіанская мысль», говорить онь, прочтя «документь». «Вась порази-ло до вопроса жизни и смерти страданіе обиженнаго вами существа: сгало-быть, въ васъ есть еще надежда, и вы попали на великій путь, путь изъ неслыханныхъ: казнить себя передъ цѣлымъ міромъ заслуженнымъ вами позоромъ. Вы обратились къ суду всей церкви, хотя и не въруя въ церковь; такъ ли я понимаю? Но вы какъ бы уже ненавидите и презираете впередъ всѣхъ тѣхъ, которые прочтуть здёсь написанное, и зовете насъ въ бой». «О, вамъ нуженъ не вызовъ, а непомърное смиреніе и приниженіе. Нужно, чтобы вы не презирали судей своихъ, а искренне увъровали въ нихъ, какъ въ великую церковь, тогда вы ихъ побъдите и обратите къ себѣ примѣромъ и сольетесь въ любви». Но Ставрогинъ далекъ въ «Исповѣди» отъ всякой любви. Его исповъдь есть актъ гордости, а не смиренія, есть вызовъ, а не приниженіе, онъ не въ состояніи преодол'єть своего уединенія и той «брезгливости», которую онъ испытываеть по отношенію къ своимъ ближнимъ. Отсюда эта «боязнь смѣшного», которая по мнѣнію Тихона, его «убьеть». Поэтому и отговариваеть Ставрогина отъ опубли-кованія его «листковъ». «Васъ боретъ желаніе мученичества и жертвы собою; поборите и сіе желаніе ваше, отложите листки и намфренія ваши, и тогда уже все поборете. Всю гордость свою и бъса вашего посрамите. Побъдителемъ кончите, свободы достигнете».

Наконець, и самъ Ставрогинъ тоже вполнъ сознаетъ, что представляетъ собою въ своемъ истинномъ существъ его исповъдъ. «Я, можетъ-быть, вамъ очень налгалъ на себя, — настойчиво повторилъ вдругъ Старогинъ, — я даже не знаю еще самъ... Впрочемъ, что же, что я ихъ вызываю грубостью моей исповъди, если вы уже такъ замътили вызовъ?

Такъ и надо. Они стоятъ того». — «То есть, ненавидя ихъ, вамъ станетъ легче, чѣмъ если принявъ отъ нихъ сожалѣніе?» отвѣчаетъ на это Тихонъ, чтобы вскорѣ съ выраженіемъ сильнѣйшей горести воскликнуть: «Я вижу... я вижу, какъ наяву, что никогда вы, бѣдный погибшій юноща, не стояли такъ близко къ новому и еще сильнѣйщему преступленію, какъ въ сію минуту». — «Ставргинъ даже задрожалъ отъ гнѣва и почти отъ испуга. — Проклятый психологъ! оборвалъ онъ влругъ въ бѣшенствѣ и, не оглядываясь, вышелъ изъ кельи».

Въ самомъ дѣлѣ, когда Ставрогинъ передавалъ Тихону листки своей исповъди, онъ уже точно зналъ, что въ это самое время жена его будетъ убита однимъ изъ его «бѣсовъ», каторжникомъ Федькой, и притомъ убита по его собственному слову. Онъ зналъ это, зналъ также, что онъ есть настоящій убійца, и все же пальцемъ объ палецъ не ударилъ, чтобы предотвратить убійство. Подобно убійству Иваномъ Карамазовымъ своего отца, и убійство Ставрогинымъ Хромоножки есть слъдствіе гордыни и духовнаго безразличія. Но если въ случат Ивана Карамазова смертоноснымъ оказалось добро, перекинувщееся въ зло, отвлеченное добро въ видъ моральнаго закона разума, презирающаго ближняго и его осуждающаго, то Ставрогинъ убиваетъ свою жену, какъ игрокъ, ни на что уже ненадъющійся въ будущемъ и все же въ отчаяніи своемъ ожидающій хотя бы и невозможнаго чуда. Въ этомъ послъднемъ своемъ преступленіи Ставрогинъ представляется тѣмъ же чистымъ воплощеніемъ зла: его презрѣніе къ ближнему, уединеніе его души, ложь передъ самимъ собой и уныніе, переходящее въ отчаяніе, — всѣ эти смертоносныя силы его души проистекають изъ одного и того же источника, будучи слъдствіями безвърія сердца, какъ отпада отъ Бога.

Для того, кто поняль истинный смыслъ ис-

повъди Ставрогина, теряетъ всякое значеніе вопросъ, совершилъ ли дъйствительно Ставрогинъ то преступленіе надъ д'вочкой, которое въ ней описано. Въдь у него «было много воспоминаній, можетъ-быть, еще гораздо худшихъ передъ судомъ людей», и слъдовательно достаточно основаній для исповъди независимо отъ эпизода съ Матрещей. Соверщенно неправильно также ставить въ зависимость отъ факта совершенія или несовершенія этого преступленія возможность спасенія Ставрогина. Въдь по глубокому убъждению Достоевскаго, мысли котораго въ данномъ случат высказываеть Тихонъ, даже самое страшное преступленіе будеть прощено Христомъ — «если только достигнете того, что простите сами себъ».«О нъть, нъть, не върьте, я хулу сказалъ: если не достигнете примиренія съ собою и прощенія себъ, то и тогда Онъ простить за намфреніе и страданіе ваще великое: ибо нътъ ни словъ, ни мыслей въ языкъ человъческомъ для выраженія встах путей и поводовъ Агнца, «дондеже пути Его въявь не откроются намъ». Кто обнимаетъ Его, необъятнаго, кто пойметь всего безконечнаго». По Достоевскому, Богъ выще добра и зла, и эта основная идея отрицательнаго богословія высказывается въ данномъ случав Тихономъ для того, чтобы показать Ставрогину возможный еще и для него путь спасенія *). Любовь

^{*)} Поэтому совершенно неправильно предполагать, что «въ глазахъ Достоевскаго изнасилованіе ребенка есть преступленіе, для котораго нѣть прощенія, даже согласно высшему божественному порядку», какъ это утверждаеть А. Долининь (Цит. статья, стр. 305). Мысль о томъ, что божественная любовь, будучи безконечной, преодолѣваеть самое противорѣчіе добра и эла, Достоевскій развиваеть подробнѣе въ «Братьяхъ Карамазовыхъ». О тѣсной связи между этой любимой мыслью Достоевскаго и «отрицательнымъ богословіемъ» см. крромѣ цитованной выше моейстатьи, также статьи мои «О посмертныхъ запискахъ Достоевскаго» «Борьба утопіи и автономіи Добра въ міровозэрѣніи Достоевс аго и Вл. Соловьева» (Совр. Зап., кн. 39, 45-46). Эту же мысль положилъ въ основу своей замѣчательной книги «Назначеніе человѣка» (1932) Н. А. Бердяевъ, уже ранѣе близко подошедшій къ ней въ своей работѣ «Мірозэрѣніе Достоевскаго», Берлинъ, 1923.

Божія безконечна, и нѣтъ преступленія, которое она не могла бы искупить. Ставрогинъ обреченъ не потому, что онъ совершилъ преступленіе, которому якобы «нътъ прощенія», а потому, что соверщенное отсутствіе въ немъ любви и невозможность для него преодолъть то уединеніе, въ которое загнала его его гордость, отръзывають ему всякій путь къ Богу, какъ къ всепрощающей безконечной любви. Правда, Ставрогинъ мучится «сознананіемъ неисполненной «любви», и его разумъ тому, чтобы теоретически къ его толкаетъ принять существование Бога, однакожъ не въритъ въ Бога своимъ сердцемъ, у него нътъ органа, чтобы почувствовать себя объединеннымъ со своимъ ближними и съ Богомъ въ любви, т. е. у него нътъ дъйственной (практической) въры въ Бога, которая только есть подлинная въра. Не чувствуя себя жизненно связаннымъ съ Богомъ, Ставрогинъ видитъ себя во власти дьявола. Онъ чувствуетъ живое присутствіе чорта, видить его воочію передъ собой, хотя разумъ его и толкуетъ ему его чорта какъ галлюцинацію. Такимъ образомъ отношеніе Ставрогина къ дьяволу прямо противоположно отношенію къ Богу: съ чортомъ, реальность котораго его разумъ отказывается признавать, онъ чувствуетъ себя связаннымъ всъмъ своимъ существомъ; напротивъ, Бога онъ отрицаетъ всѣмъ существомъ своимъ, хотя «сознаніе неисполненной любви» заставляетъ его разумъ признавать существование Бога. Его отчаяніе и сознаніе обреченности есть ни что иное, какъ ощущеніе начала смерти, которому онъ подпалъ, разорвавши связь свою съ началомъ любви и жизни. Воскресеніе же души достигается, по Достоевскому, не «катехизисомъ новой въры» и даже не «внезапнымъ подъемомъ» или отдѣльнымъ «героическимъ подвигомъ», но чтобы воскреснуть душою, нужно «нѣчто болѣе трудное — серьезная

и долгая нравственная работа, упорство въ любви». Иначе «изъ ангельскаго дѣла выйдетъ дѣло дьяво-ла».

Ставрогинъ знаетъ это такъ же хорощо какъ и Тихонъ, опъ знаетъ, что онъ «осужденъ», и потому вмъсто того, чтобы надъяться на божественную любовь, онъ бросается во всѣ стороны, ожидая чуда то отъ своей исповъди, то отъ Лизиной любви, то отъ жалости къ нему Даши, — подобно игроку, послъдняя надежда котораго лежитъ не въ немъ самомъ и не Богъ, а въ «поворотъ колеса». Подобно тому, какъ подлинная, имфющая источникомъ своимъ любовь, въра въ Бога есть жизнь, точно такъ же и въра въ дъявола, будучи слъдствіемъ совершеннаго изсякновенія въ человъкъ любви, есть духовное разложение человъка и его смерть. Поэтому-то и говоритъ Тихонъ, что совершенный атеистъ выше върующаго въ дьявола безъ въры въ Бога, ибо въра въ дьявола без ъ въры въ Бога есть безразличіе души и ея смерть. «Совершенный атейсть, какъ хотите, а все-таки стоить на предпослѣдней, верхней ступени до совершеннѣйшей вѣры (тамъ перешагнетъ ли ее, нѣтъ ли), а равнодушный никакой уже въры не имъетъ, кромъ дурного страха». Въ этомъ и состоитъ смыслъ словъ изъ откровенія Іоанна, которыя Тихонъ читаетъ Ставрогину по его настоянію: «И Ангелу Лаодикійской церкви напиши: сіе глаголеть Аминь, свидътель върный и истинный, начало созданія Божія: знаю твоя дѣла; ни холоденъ, ни горячъ. О, есть ли бы ты былъ холоденъ или горячъ. Но поелику ты теплъ, а не горячъ и не холоденъ, то изблюю тебя изъ устъ моихъ. Ибо ты говоришь: я богать, разбогатьль, и ни въ чемъ не имью нужды; а не знаещь, что ты жалокъ и бъденъ, и нищъ, и слѣпъ, и нагъ....»

С. Гессенъ.

ЗАВЪТЪ СВ. КН. ВЛАДИМІРА

Мы только еще начинаемъ пристально вглядываться въ учительный образъ отца нашей націи по плоти и по духу, въ образъ св. кн. Владиміра. Только начинаемъ разгадывать и постигать его святые завѣты. Всѣмъ извѣстныя черты его жизненнаго подвига вырисовываются предъ нами все съ большей грандіозностью и значительностью. Нужно еще много изучать умомъ и сердцемъ «Великаго кагана» нашего, равноапостольнаго Владиміра, и не въ газетные столбцы, а въ томы должно вылиться это изученіе. Здѣсь и сейчасъ коснемся намекомъ только одной грани его зємного служенія. Хочется къ уже извѣстному и многократно отмѣченному привлечь еще большее вниманіе, подчеркнуть еще болѣе глубокимъ рѣзцомъ.

Святой князь потрясъ сердца современниковъ и, что особенно знаменательно, сердца простого народа, своимъ щедрымъ гостепріимствомъ, своимъ нищелюбіемъ. Что это? Княжескій обычай баловать свою дружину, пережитокъ языческаго разгула, личная щедродательность, широкая русская натура? Можетъ всего есть понемножку. Но это не интересно, и не объясняетъ главнаго, какъ не интересны вообще убого-трезвыя, яко бы единственно научныя объясненія явленій духовныхъ. «Душевный человъкъ не пріемлеть того, что есть отъ Духа Божія». Главное въ этомъ явленіи не отъ плоти и внѣшнихъ причинъ, а отъ Духа Божія, Который по драгоцінні вішему для насъ свидітельству преподобнаго Нестора чудеснымъ путемъ привелъ кн. Владиміра къ св. купели. И, «отрясши въ ней слѣпоту душевную вкупъ и телъсную», св. Владиміръ, по слову мутрополита Иларіона, «возгорълся духомт и возжелалъ сердцемъ быть христіаниномъ и обратить всю землю въ христіанство». Благодатно восхотълъ исполнить завъты евангельскіе не по имени только, но на самомъ дълъ. Всъ свидътели, близкіе, почти современники св. князя, въ одинъ голосъ говорять о чемъ то въ этомъ отношеніи совершенно необычайномъ, изъ ряду вонъ выходящемъ. Мнихъ Іаковъ и святость кн. Владиміра не считаеть нужнымъ доказывать отъ посмертныхъ чудесъ, — такъ она самоочевидна отъ его

необычайныхъ иныхъ дѣлъ: «отъ дѣлъ познати, а не отъ чудесъ». Въ чемъ необычность дѣлъ св. Владиміра? М. Иларіонъ такъ похваляетъ его: «Радуйся учитель нашъ и наставникъ благовърія! Ты былъ облеченъ правдой, препоясанъ крѣпостью, вѣнчанъ смысломъ и украшенъ милостыней, какъ гривной и утварью златой. Ибо ты, честная глава, быль одеждой нагимъ, ты былъ питателемъ алчущихъ, былъ прохладой для жаждущихъ, ты былъ помощникомъ вдовицамъ, ты былъ успскоителемъ странниковъ, ты былъ покровомъ не имъющимъ крова, ты былъ заступникомъ обидимыхъ, обогатителемъ убогихъ». Слова эти могли бы показаться и просто похвальной риторикой, если бы не углублялись и не освъщались другими данными. Характерно и туть поставленіе «милостыни» или филантропіи св. князя въ ряду его княжескихъ, а не просто личныхъ добродътелей: «правды и крѣпости». А филантропія уподобляется княжескимъ регаліямъ — гривнамъ и эмблемамъ, украшающимъ грудь властителя и выражающимъ идеальныя задачи его служенія, по нынъшнему — его правительственную программу. Дъйствительно то, о чемъ говорить лътопись, — не личная только благотворительность князя. Это соціальная помощь въ государственномъ масштабъ. «Повелѣ», читаемъ въ лѣтописи: «всякому нищему и убогому приходити на дворъ княжь и взимати всяку потребу — питье и яденье и отъ стотьниць кунами» (т. е. изъ казначейства денежную пенсію). «Устрои же и се рекъ: «яко исмощніи и больніи не могуть долѣсти двора моего» — повелѣ пристрсити кола и вскладище хлъбы, мяса, рыбы, овощь разноличный, медъ въ бчелкахъ, а въ друтылъ квасъ, возити по городу, въпрашающимъ, гдъ больній и нищь, не могы ходити? Тъмъ раздаваху на потребу». Чтобы не оставалось у насъ сомнѣнія, что эта княжеская филантропія не ограничивалась столицей или предѣлами дворцовыхъ имѣній, мнихъ Іаковъ, касаясь этого вопроса, опредѣленно поясняеть, что св. Владимірь установиль это какъ систему ръшительно во всемъ государствъ до деревенскихъ захолустьевъ включительно. «Болъ всего бяше милостыню творя князь Володимеръ: иже немощніи и старъи не можаху дойти княжа двора и потребу взяти, то въ дворъ имъ посылаше; немощнымъ и старымъ всяку потребу блаженный князь Володимеръ даяще, И не могу сказати многія его милостыня; не токмо въ дому своему милостыню творяше, но и по всему граду, не въ Кіевѣ единомъ но и по всей землѣ Русской, и въ градѣхъ и въ селѣхъ, вездѣ милостыню творяще, нагія одъвая, алчныя кормя и жадныя напаяя, странныя покоя милостію; нищая и сироты и вдовицы и слѣпыя и хромыя и трудоватыя вся милуя и одѣвая и накормя и напаяя».

Историческіе свидѣтели передають съ восторженнымъ изумленіемъ не только о широтъ этого опыта христіанскаго ръшенія соціальнаго вопроса сверху, въ рамкахъ цѣлаго государства, волей христіанскаго монарха, но и о мотивахъ его, тоже потрясающихъ христіанскую мысль. Житія святыхъ полны изумленіемъ предъ рѣшеніемъ духовныхъ героевъ — по одному только слышанію слова евангельскаго въ церкви все оставить, взять крестъ свей и пойти за Христомъ. Тоже сообщаетъ лѣтопись и о кн. Владимірѣ: «Бѣ бо любя словеса книжная; слышна бо единою евангелье чтомо: блажени милостивіи, яко ти помиловани будутъ; и паки: продайте имѣнія ваша и дадите нищимъ; и пакы... Си слышавъ, повелѣ всякому нищему и убогому» и т. д., что мы приводили уже выше. То же самое говоритъ и м. Иларіонъ, что св. князь «не до слышанія стави глаголанное, но дѣломъ сконча слышанное», т. е. не хотѣлъ слова евангелія оставлять просто для услажденія слуха, но рѣшилъ осуществить ихъ на дѣлѣ.

Можно себъ представить, какъ долженъ былъ поразить воображеніе языческаго народа этотъ неслыханный опытъ — во всемъ государствъ утолить всякую нужду! Какая пертурбація должна была произойти въ системъ государственнаго хозяйства и финансовъ! Недаромъ преданіе и былина такъ запомнили щедроты ласковаго князя — Краснаго Солнышка». «Твоя бо щедроты и милостыня», говоритъ м. Иларіонъ, «и нынъ въчеловъцъхъ поминаеми суть».

Тотъ же митрополитъ Иларіонъ сообщаетъ намъ, что св. Владиміръ, «часто собираясь съ новыми отцами, нашими епископами съ великимъ смиреніемъ совътовался съ ними, какъ уставить законъ сей среди людей недавно познавшихъ Господа». Это не иначе можно понять, какъ совъщанія съ іерархіей не по миссіонерскимъ только вопросамъ, а скорѣе по вопросамъ проведенія въ жизнь всего государства «закона» христіанскаго, какъ совъщаніе о посильномъ осуществленіи царства Христова на землъ. Смълость замысловъ св. князя въ этомъ направленіи подтверждается и лътописью. Проникаясь духомъ евангельскимъ, св. Владиміръ переживалъ въ своей совъсти со всей силой нравственную антиномію государственной силы и личнаго всепрощенія. Онъ тяготился долгомъ меча казнящаго. И епископамъ приходилось успокаивать его чуткую совъсть: «живяще же Володимеръ въ страсъ Божіи, и умножишися разбоеве, и ръша епископы Володимеру: се умножишася разбойницы, почто не казниши ихъ? Онъ же рече имъ: боюся грѣха. Они же ръша ему: ты поставленъ еси отъ Бога на казнь злымъ, а добрымъ на милованье; достоить ти казнити разбойника, но со испытомъ. Володимеръ же, отвергъ виры, нача казнити разбойникы».

Св. Владиміръ не впалъ въ сектанство и покорился мудрымъ совѣтамъ церкви, не признающей насильственнаго введенія

евангельскихъ нормъ въ жизнь черезъ принудительный механизмъ государства. Не превратилъ въ мертвый законъ и своихъ широкихъ филантропическихъ мѣръ, подсказанныхъ ему лично его пламенной христіанской любовью. Онъ не создалъ карикатуры христіанскаго государства, но осуществлялъ въ его предълахъ заповѣди Христовы постольку, поскольку лично ему, облагодатствованному властителю, даны были дары Духа «вспоможенія, управленія» (І Кор. 12, 28). Въ наслѣдство своимъ преемникамъ св. Владиміръ не оставилъ никакихъ радикально измѣненныхъ основныхъ законовъ, предоставляя имъ быть слугами Христовыми въ мѣру ихъ даровъ духовныхъ. И его святые сыновья Борисъ и Глѣбъ не были соціальными реформаторами, а скорѣе аскетами и молитвенниками, въ иномъ стилѣ исполнявшими завѣты Христовы.

Такимъ образомъ въ началѣ русскаго христіанства былъ моментъ исключительнаго порыва къ исполненію евангельскаго идеала, подобный порыву первобытной іерусалимской церкви къ самоотверженному общенію имуществъ. Аналогичные порывы у сектантовъ — монтанистовъ, павликіанъ, вальденсовъ, анабаптистовъ приводили къ извращеніямъ фанатизма и деспотіи, ибо выпадали изъ подъ руководства благодатной мудрости церкви и подчинялись человъческому своеволію и гордынъ. Не то было въ жизни первохристіанской общины и въ дълъ св. Владиміра. Это были порывы, покорные волѣ Духа Святаго и въ мѣру подлинной свободной любви Христовой. И, какъ въяніе Св. Духа, эти чудесныя достиженія приходили и проходили, подобно видьніямъ и обътованіямъ царства Христова, не окаментвая въфальшивомъ насилующемъ законт. Въ первенствующей церкви была эпоха чрезвычайныхъ дарованій. И первоначальную исторію русской церкви озариль благодатный лучь царства Христова, прошедшій черезъ великое сердце Владиміра, Великаго не по титулу только, но и по благодатному «дару вспоможенія, управленія», ему ниспосланному (1 Кор. 12, 28). И св. князь не приткнулся на своемъ пути. За 1000 лѣтъ до Л. Толстого онъ отвътственно, сидя на княжемъ судилищъ, пережилъ антиномію меча и принялъ въ сердце трагедію его по внушенію церкви. Такъ же точно за 1000 лѣтъ до новѣйшихъ соблазнителей хлѣбами св. Владиміръ сдівлалъ все, что могъ для помощи меньшей братіи, какъ устроитель и реформаторъ государства, и не пролилъ рѣкъ крови и не заковалъ народъ во имя «равенства и братства» въ цѣпи рабства, подобно антихристіанскимъ «народолюбцамъ» нашихъ дней.

Въ наши дни апокалиптическихъ искушеній міра и русской массы властью, хлѣбами и чудесами техники предъ русской церковью во всей неотвратимости всталъ міровой соціальный вопросъ со всѣми его соблазнами. Креститель нашъ далъ намъ

примъръ, какъ вести себя на этомъ труднъйшемъ пути. Христіанскій народъ, христіанскіе дъятели, христіанская власть прежде всего должны сдълать все возможное для проведенія во всъ стороны жизни націи завътовъ любви евангельской, организовать дѣло христіанскаго братолюбія на уровнѣ современной намъ соціальной техники. Но народъ и власть могуть праведно осуществлять это дъло только въ мъру данности любви Христовой въ сердцахъ самихъ творцовъ и исполнителей. Безъ этого духовнаго, благодатнаго основанія, одна механика добра превращается въ безсильное, фальшивое и злое дъло. Христіанское соціальное дізланіе можеть быть только внутренне свободнымъ. Такъ сумълъ вести себя не частный одиночный христіанинъ, а государь всей земли русской. Его завъть намъ: христіанизація общественной жизни не на путяхъ внутренняго насилія сектантства и внѣшняго насилія коммунизма, а на путяхъ церковнаго разумънія христіанской свободы.

Само собою разумъется, что между примъромъ св. Владиміра и возможностью «подражанія» ему въ наше время лежитъ цѣлая бездна въ различіи эпохъ. Лишь наивные люди, ожидающіе реставраціи въ наши дни патріархальной теократіи, могутъ мечтать повторять буквально то, что уже неповторимо въ силу безвозвратности совершившейся исторической эволюціи. Вопросъ соціальной справедливости сейчась все равно рѣшается и будетъ рѣшаться независимо отъ церкви на началахъ права и экономической техники. Хронологически церковь опоздала въ этомъ дълъ взять иниціативу. Но она никогда не опоздаетъ внести въ гущу даже чужеродныхъ ей общественныхъ отношеній свой преображающій духъ, свой нравственный коррективъ внутренними путями: черезъ сердце върующихъ участниковъ соціальнаго строительства, будутъ ли то отдъльныя лица, или ихъ спеціальныя сообщества, или уже существующіе органы церкви въ видъ ея іерархіи, соборовъ и т. д. Это пути не закрыты ей ни при какомъ строъ. Даже въ коммунистической тюрьмъ всепроникающіе лучи любви Христовой непримѣтно для невѣрующихъ глазъ смягчають жестокость животной борьбы за существованіе. Объ этомъ намъ много поразскажуть новыя житія святыхъ, нашихъ братьевъ. Исполнение завъта страждущихъ тамъ нашего Крестнаго Отца — кн. Владиміра лежить на отвътстенности не только невъроятнаго въ наше время теократическаго монарха, но на отвътственности всъхъ насъ, членовъ православной церкви, при всъхъ имъющихъ случиться политическихъ и соціальныхъ режимахъ. И при модныхъ нынѣ цезаризмахъ и при старомодной демократической республикъ и при модномъ соціальномъ деспотизмъ и при старомодной частно-хозяйственной иниціативъ мы въ своей общественно-политической упостаси не имъемъ нравственнаго права забыть завътъ нашего перваго

христіанскаго строителя земли русской. Мы обязаны mutatio mutandis продолжать его въ новъйшихъ формахъ христіанской соціальной активности.

Русская земля, а съ нею и русская церковь не могутъ не быть носителями «великой совъсти». Нынъшняя тиранія безсовъстности лишь временное наважденіе. Существующіе типы рась и культуръ сложились еще въ доисторическія тысячельтія и до сихъ поръ остаются въ главномъ неизмѣнными. 15 лѣтъ извращенческаго перевоспитанія не измѣнятъ духовной глубины русскаго генія. Онъ вспомнитъ праотца своей культуры, человѣка великой совъсти, св. кн. Владиміра и возгорится желаніемъ исполнить его завѣтъ.

А. Карташевъ.

Парижъ 1 авг. 1932 г.

ВЪПОИСКАХЪПЕРВОНАЧАЛЬНАГО ЕВАНГЕЛЬСКАГО ПРЕДАНІЯ.

Въ продолжение первыхъ трехъ четвертей XIX вѣка, каждый изъ важнъйшихъ историковъ происхожденія христіанства стремился создать собственный образь Іисуса, написать свою «жизнь Іисуса». Казалось, это громадное усиліе (Leben Jesu Forschung) закончилось нѣкотораго рода банкротствомъ и разочарованіемъ: признавали, что исторически Іисусъ недостижимъ, неуловимъ. Къ концу XIX и началу XX в. усиліе было перенесено на критику источниковъ, то есть евангельскихъ текстовъ. Тогда оставивъ въ сторонъ четвертое Евангеліе, разсматриваемое какъ нѣчто особое, — подняли и начали страстно обсуждать проблемы подлинности, даты и авторовь трехъ остальныхъ евангелій («синоптическая проблема»): превосходство Марка передъ Лукою, и Матфеемъ; возсоздание предполагаемаго источника Q (Quelle), который якобы являлся самымъ древнимъ источникомъ евангельскихъ писаній; существованіе Матфея по арамейски, перво-Марка, и пред. Луки, предшествующихъ нынъ существующимъ текстамъ синоптическихъ Евангелій. Около 1905-6 года произошель перевороть. Критика источниковъ интересовала меньше, все казалось сказаннымъ на эту тему, и заново обсуждалась личность Іисуса. Не то, чтобы слъдовало писать Его біографію, какъ нъкогда Штраусъ и Ренанъ, — но сопоставить Его жизнь съ нѣкоторыми новыми возэръніями. Это тотъ моменть, когда «эсхатологи» (Іоаннъ Вейсъ, Швейцеръ) объявили войну «Христу либеральнаго протестантизма» (Ричль, Гарнакъ и др.), во имя возсозданія Іисуса религіознаго моралиста «царствія Божія внутри васъ», Іисуса глашатая конца міра и катастрофическаго царствія Божія. Въ это же время сравнительные историки, синкретисты, мифологи вели другое нападеніе подъ знакомъ религіозноисторическаго метода (religiongeschichtliche methode» и изученія

культа мистерій, готовые сдѣлать изъ Іисуса чистаго представителя коллективной легенды на подобіе Атиса или Митры. Послѣ великой войны вѣтеръ повернулъ еще разъ. Хотя теперь продолжають еще спорить вокругъ личности Іисуса (вниманіе, вызванное книгами Кушу и Эйзлера тому доказательствомъ), но наиболѣе новыя и живыя работы въ настоящее время вдохновляются розысками источниковъ (1).

Эти поиски источниковъ глубоко отличаются отъ прежней новозавътной критики. И сегодня, какъ двадцать лътъ назадъ, вопросъ заключался въ томъ, чтобы отыскать -«первоначальное» евангельское преданіе; но для большинства историковъ и экзегетовъ слово «первоначальный» измѣнило смыслъ. Въ то время, какъ прежде искали письменный подлинникъ Евангелія, Urewangelium — нынче хотѣли бы добраться до устнаго первоевангелія. Вопросъ не въ томъ, чтобы опредѣлить авторовъ, даты, обстоятельства письменнаго запечатлѣнія преданія (какъ было въ «синоптической проблемѣ»), но въ томъ, чтобы прослѣдить развитіе, становленіе этого преданія — das werden der Tradition — но его письменнаго зафиксированія. Если мы предположимъ, что минимальный срокъ въ тридцать лѣтъ истекъ между смертью Іисуса и составленіемъ перваго по датѣ изъ синоптическихъ Евангелій и, съ другой стороны, примемъ во вниманіе, что ни Маркъ, ни Лука не были эрителями описываемыхъ ими событій или по крайней мѣрѣ нѣкоторыхъ изъ этихъ событій, и что они вынуждены были частично использовать уже существующія свѣдѣнія, — тогда становится несомнѣнымъ, что устное преданіе, прочное въ главныхъ чертахъ и признанное авторитетнымъ въ перво-христіанской общинѣ, предшествовало писанію. Къ этому-то возсозданію устнаго преданія — отступая въ даль временъ — современная критика источниковъ подходитъ различными, но совпадающими путями.

Среди поисковъ этого типа основное мъсто занимаетъ formgeschichtliche Schule. Изъ мастеровъ этой «морфологическиисторической» школы слъдуетъ назвать М. Дибеліуса, Р. Бультмана, М. Альбертца, Г. Бертрама, К. Л. Шмидта. Для лучшаго прочикновенія въ труды formgeschichtliche Schule стоило бы прочесть книгу Дибеліуса объ исторіи литературныхъ формъ Евангелія 2) и книгу Бультмана объ исторіи синоптической

¹⁾ Последовательные этапы критики будуть боле подробно развиты въ труде о Іисусе Назорее по историческимъ даннымъ, который появится въ ближайшее время, за тою же подписью, въ издательстве YMCA-PRESS

²⁾ Dibelius. Die formgeschichte des Evangeliums, Tubingen, 1919.

традиціи (1). Дибеліусь опубликоваль также библіографію

работъ своей группы до 1929 г. (2).
Formgeshichtliche Schule преслъдуетъ двойную цъль: одну, составляющую элементы формы и другую, относящуюся къ исторіи. Съ одной стороны школа эта стремится опредълить литературныя формы, т. е. разбить на извъстныя литературныя категоріи различные куски или «единицы», изъ которыхъ составлены синоптическія Евангелія. Съ другой стороны она хочеть обозначить исторію этихъ категорій, этихъ литературныхъ жанровъ и формулировать законы ихъ развитія. Такой методъ, конечно, подразумъваетъ, что Евангелія разсматриваются какъ мозаика, какъ раздълимые составы, изъ которыхъ можно извлечь единицы, какъ бы живущія независимой жизнью. При такомъ пониманіи, вопрось объ авторѣ отчасти утрачиваеть свое значеніе. Важны лишь матеріалы, разсматриваемые въ отдѣльности. Допустимо, что эти матеріалы существовали до ихъ групировки, до письменнаго ихъ запечатлѣнія и что въ дальнѣйшемъ черезъ нихъ можно дойти до первоначальнаго, устнаго преданія.

Разработка литературно-евангельскихъ формъ производилась formgeschichtliche Schule подробно и чрезвычайно систематически. Она различаеть два основные элементы: «рѣчи» и «разсказы». Рѣчи дѣлятся на три отдѣла. Прежде всего «апофтегмы», т. е. изръченія представляющія единство смысла и включенныя въ краткое повъствованіе, служащее исторической рамкой: напр., слова Іисуса въ случать съ Закхеемъ или въ эпизодъ лепты бъдной вдовы. Апофтегмы бываютъ сапіенціальными (премудростными), апокалиптическими или пророческими. По иному признаку ихъ расщепляютъ на утвержденія, ободренія и вопрошанія. Иная группа рѣчей состоить изъ «законодательныхъ текстовъ», напр. словъ Іисуса о соблюденіи субботы. Третій классъ включаеть Ісһ-Worte, или утвержденія Іисуса о Немъ самомъ. Что касается разсказовъ, они включають двѣ группы: чудеса и легенды. Въ категорію легендъ входять всѣ элементы жизни Іисуса, не связанныя ни съ чудесами, ни съ узкими историческими рамками апофтегмъ: напр. крещеніе Іисуса, Его пребываніе въ пустынъ, Его страданія и т. д. Мы приводимъ здъсь лишь главныя черты классификаціи формъ. Formgeschichtliche Schule продолжаетъ это расчленение поистинъ до нъкоего литературнаго атомизма.

2) Dibelius. Zur Formgeschichte der Evangelien, въ Theologische Rundschau новая се-

рія томъ І, 1929, стр. 185-216.

¹⁾ Bultmann. Die Geschichte der synoptichen Tradition, Bb Forsehungen zur Religion und Literatur des alten und neuen Testaments, новая серія, вып. 12, Goettingen 1921.

Недостаточно однако установить классификацію и номенклатуру редакціонныхь евангельскихъ единицъ. Надо еще опредълить законы каждой изъ литературныхъ формъ въ отдъльности, и затъмъ сравнить эти отвлеченныя сущности, эти идеальныя формы съ дъйствительно существующими — а изътакого сравненія возникнуть указанія о подлинности и значеніи конкретно разсматриваемыхъ единицъ. Возьмемъ для примъра апокалиптическую апофтегму. Прежде всего надо обозначить законы апокалиптической апофтегмы вообще, въ состояніи отвлеченно-литературнаго типа. Затъмъ — сопоставить выбранную нами апокалиптическую апофтегму съ общимъ типомъ. Тогда можно представить три случая: или разсматриваемое частное изръченіе подходитъ характеромъ и стилемъ къ жанру, къ которому оно относится — тогда его объявляютъ епервичной формулой», «подлиннымъ преданіемъ». Или изучаемое изръченіе вполнъ отступаетъ отъ общаго типа, — въ этомъ случать его цъликомъ отбрасываютъ. Наконецъ, если это изръченіе частично совпадаетъ и отчасти противоръчащія устраняють или замъняютъ ихъ чертами характерными для чистаго типа и такимъ образомъ «возстанавливаютъ подлинный текстъ». Готто деста строгостью. Напримъръ ръшено удалить изъ апофтегмъ всъ подробности, которыя безъ надобности отягчаютъ, — и въ число этихъ деталей зачтены георграфическія указанія. Остается спросить — почему?

Наиболье щепетильн ая задача это, конечно, опредъленіе типовь, ихъ сущности, изъ законовъ. Formgeschtliche Schule опредъляетъ литературныя формы Евангелія при помощи сравнительнаго метода, сопоставляя ихъ со схожими формами іудейской и классической литературы; къ этой разработкъ примъняются всъ возможности филологіи. Однако единицы эти нельзя разсматривать въ неподвижности: въ нихъ есть извъстная пинія развитія, есть органическіе законы возникновенія и распространенія. Formgeschichtliche Schule прилагаетъ къ евангельскому преданію данныя, достигнутыя въ развитіи эпической и лирической народной поэзіи (Volksdichtung). Она силится уточнить условія роста и измъненія этихъ «сказаній», изръченій или разсказовъ. Заимствуя выраженіе скандинавскаго фолклориста Акселя Олрика, впервые заговорившаго о біологіи саги, Віоlogie der Sage, она пробуетъ установить «біологію» евангельскаго преданія. Исходя изъ этой литературно-біологической эволюціи, formgeschichtliche Schule приходить къ ьоззрънію, довольно близкому теоріямъ французской соціологической школы. (Дюрхеймъ, Леви-Брюль и др.). Она исповъдуетъ, что измъненіе литературныхъ составныхъ частей не является

результатомъ чьихъ-то личныхъ дѣйствій или противодѣйствій, но выраженіемъ коллектива, который чувствуетъ, думаетъ и творитъ именно въ качествѣ коллектива. Исторія евангельскаго преданія есть не что иное, какъ отраженіе исторіи перво-христіанской общины. Въ оцѣнкѣ текстовъ слѣдуетъ неизмѣнно считаться съ жизненнымъ ростомъ христіанской общины и ея порою разрушительнымъ — дѣйствіемъ. Такъ, коллективъ, стремится въ своемъ литературномъ творчествѣ привести все къ наиболѣе подчеркнутому типу, — и христіанская община взвалила на фарисеевъ почти всю отвѣтственность за борьбу съ Іисусомъ, Urevangelium прежде всего и главнымъ образомъ есть состояніе души Urgemeinde, первичной общины. Если это такъ, можемъ-ли мы узнать еще хоть что-нибудь о Іисусѣ?

Мы касаемся здѣсь основного вопроса: что думаетъ formge-schichtliche Schule о Іисусѣ и его задачѣ? Въ этомъ пунктѣ два основные учителя этой школы, Дибеліусъ и Бультманъ — расходятся. Несходна даже самая манера ихъ подходить къ вопросу объ отношеніи между преданіемъ и первохристіанской общиной. Бультманъ, наиболѣе аналитическій, прибѣгаетъ къ евангельскому матеріалу и черезъ него хочетъ постигнуть преданія общины. Дибеліусь скор ве строитель; онь опирается на нравы и обычаи общины, чтобы изъяснить евангельскій матеріалъ. Въ томъ, что касается проблемы Іисуса, Дибеліусъ полагаетъ, что formgeshichtliche Schule должна ограничиться литературной разработкой почвы для историка, не высказываясь о личности Іисуса и о характеръ его призванія. Бультманъ-же высказаться ръшается. По его мнънію, мы не можемъ достигнуть истиннаго историческаго знанія о Іисусъ, потому что евангельское преданіе есть въ сущности созданіе первоначальной общины; онъ безжалостно подчеркиваетъ свободу, съ которой община разра-батывала преданіе (die Phantasie der Gemeinde und der Redaktoreп...) Значитъ-ли это, что все касающееся Іисуса — вымысель? Нътъ. Существуетъ даже критерій, позволяющій отличить вымысель оть подлиннаго. Лишній разь formgeschichtliche Schule дъйствуетъ съ помощью сравненія существующихъ дан-ныхъ и формальнаго прототипа. Все, что отвъчаетъ тенденціямъ общины должно быть разсматриваемо какъ вымыселъ; все, что соотвътствуетъ характеру Іисуса, уже ранъе опредъленному въ главныхъ чертахъ, почитается подлиннымъ. Пропорція этихъ подлинныхъ чертъ, какъ увъряютъ, весьма слаба. Однако Бультманъ считаетъ, что располагаетъ достаточнымъ матеріаломъ для созданія нѣкоего образа Іисуса. Это образъ эсхатологическаго и нравственнаго пророка. Это понимание совпадаетъ съ «іерусалимскимъ содержаніемъ», не вполнъ исчезнувшимъ изъ евангельской традиціи, благодаря іудео-христіанамъ греческаго наръчія, но затемненнымъ впослъдствіи образомъ «обожествленнаго человѣка», созданнаго Маркомъ, затѣмъ — разказами о чудесахъ, на которые повліяло язычество и, наконецъ, «христологическимъ мифомъ» эллинскихъ павловыхъ церквей (і). — По количеству трудовъ и по ихъ распространенію, formgeschichtliche Schule первая останавливаетъ вниманіе. Но въ наше время это не единственная попытка найти преданіе болѣе древнее чѣмъ то, которое зафиксировали его составители. Слѣдуетъ указать, по этому поводу, недавніе труды, относящіеся къ Style oral (устному стилю).

Давно уже «параллелизмъ» еврейской поэзіи былъ предметомъ серьезнаго изученія. Систематическія повторенія, «параллели» мыслей и выраженій (напр. въ псалмахъ) внушили идею о ритмическомъ построеніи Библіи: большая доля еврейскихъ священныхъ книгъ могла бы быть расположена по стихамъ и строкамъ, согласно опредъленныхъ ритмовъ. (Strophenbautheorie). Эта теорія примѣняемая первоначально къ однимъ только поэтическимъ произведеніямъ Ветхаго Завѣта, была обобщена и перенесена и на историческія книги обоихъ Завѣтовъ. В. Шмидтъ опубликовалъ строфическое изданіе четырехъ Евангелій (2) Луази издалъ всѣ книги Новаго Завѣта въ ритмической формѣ (3). Г. Ф. Бюрней особо изучалъ формально-поэтическій элементъ въ рѣчахъ Іисуса (4). Если представить себѣ еван-

¹⁾ Странное на первый взглядъ явленіе: Бультманъ откровенно примыкаеть къ большому движенію, вдохновителемъ котораго является Карлъ Бартъ. Какимъ образомъ этотъ критикъ, чьи позиціи въ вопрось о Іисусь являются, что называется «радикальными», можеть примыкать къ доктринамъ трансцендентнаго богословія, строгаго предопредъленія, полнъйшаго возсозданія кальвинизма? Эта близость удивитъ меньше, если приглядъться къ неясному характеру христологіи Барта. Въ ученіи, подчеркивающемъ непроходимую пропасть между Богомъ и человъкомъ, трудно найти мъсто Воплотившемуся. По Барту, Христосъ есть божественная вертикаль, ниспадающая на горизонтальный мірь исторіи: но кажется, что она проръзаетъ этотъ міръ, не проникая его. Богъ Барта, въ со самое время, когда онъ открывается въ Христъ, остается Богомъ скрытымъ, Deus absconditus. Бартіанецъ простирается передъ Христомъ съ трепетомъ, но какъ бы на извъстномъ разстояніи. А въдь Бультманъ заявляетъ, что въ личности Іисуса мы постигаемъ совершенно достаточно «таинственнаго», чтобы привести религіозное сознаніе въ состояніе напряженія и вызвать въ немъ толчокъ къ поклоненію. Это ужъ чистое бартіанство.

²⁾ W. Schmidt. Der strophiche Aufbau des Gesamttexts der vier Evangelien. Modling. 1921.

³⁾ Loisy. Les livres du nouveau Testament traduits du grec en français. Paris, 1922.

⁴⁾ G. F. Burney, The poctry of our Lord. An examination of the formal elements of the Hebrew portry in the Discourses of Jesus Christ, Oxford 1921.

гельскій тексть, какъ тексть ритмическій, какъ своего рода поэму, естественно думать, что составители записали уже прежде существующій речитативъ. Евангелія оказались бы произведеніями не письменнаго, а устнаго стиля, style oral. Единицы style oral суть geste propositionnel (1), сочетание словъ, произносимыхъ за однимъ дыханіемъ и приблизительно соотвѣтствующихъ свободному стиху. Эти составныя единицы рѣчи, каждая изъ которыхъ имъетъ законченный смыслъ, связаны между собою, какъ скрѣпами, «словами-аграфами»; повторяясь, онъ охраняють передаваемое содержание и облегчають работу памяти. Это — характерныя черты всъхъ созданій style oral. Жусъ, опираясь на данныя фонетики, экспериментальной психологіи и наблюденія надъ первобытными племенами, у которыхъ style oral пока что замѣняетъ письменность, установилъ главные законы stiyle oral (2) и высказаль слѣдующее положеніе: до письменныхъ трудовъ синоптиковъ, Urewanglium — катехизисъ перво-христіанской общины, существовало въ видѣ ритмическаго речитатива и было «читаемо наизусть», подобно поэмамъ Гомера или chansons de geste.

Жусь дѣлаетъ изъ этого утвержденія выводы чрезвычайной важности. Ритмъ есть охранитель преданія. Несомнѣнно, что «чтеніе наизусть» въ древности и средневѣковьи оставляло извѣстное мѣсто и для импровизаціи. Но основное въ речитативѣ являлось неизмѣннымъ ядромъ, обезпеченнымъ отъ уклоненій рамками ритма. Возможно, слѣдовательно, что евангельскіе тексты воспроизводятъ, во всей ея подлинной чистотѣ, преданіе первой общины. Болѣе того: возможно — какъ возмутило бы экзегетовъ всего четверть вѣка назадъ такое утвержденіе! — что мы находимся передъ собственными словами Христа. Теоріи style oral приводятъ насъ къ наиболѣе «ортодоксальнымъ» положеніямъ, наиболѣе консервативнымъ. Это и не удивительно, когда знаешь, что многіе изъ послѣдователей этой теоріи принадлежатъ къ римской церкви.

Правда, первичное преданіе и евангельское преданіе, окристализовавшееся къ нашему времени раздѣлены лингвистической перегородкой. Первоначальное преданіе распространялось на арамейскомъ языкѣ; тексты Евангелій записаны по гречески. Отмѣтимъ замѣчательныя современныя научныя усилія, стремящіяся установить связь между Urewangelium арамейскимъ и нашими греческими переводами. Г. Дальманъ поставилъ

1) Лучше не переводить это выраженіе, значеніе котораго мы надъемся, ясно изъ текста.

²⁾ Tousse. Le style oral et mnemetechique chez les verbo-moteurs. Etude de psychologie linguistrique, Paris 1925.

своей задачей, особенно въ своихъ книгахъ die worte Jesu и Jesus-Jeschua возсоздать арамейскій подлинникъ рѣчей Іисуса(1). Вслѣдъ за нимъ, многіе экзегеты уже не мыслятъ возможности изучать греческій текстъ Евангелій безъ того, чтобы не освѣтить его, почти на каждомъ словѣ, ссылками на языкъ Христа и Его учениковъ.

Всѣ эти усилія вдохновляются общимъ желаніемъ найти самое древнее преданіе. Конечно, и у однихъ, и у другихъ много — слишкомъ много — апріорныхъ рѣшеній, произвола, гипотезъ, поспѣшныхъ обобщеній. Эти попытки цѣнны не столько своими достиженіями, сколько ихъ направленіемъ. Съ 1920 по 1932 годъ для критики открылись новые пути, были поставлены новыя и значительныя проблемы. Позволительно думать, что углубленіе этихъ вопросовъ не окажется безплоднымъ, и что поиски Urewangelium выведутъ насъ за предѣлы мертвой буквы, приблизятъ насъ къ живому слову Іисуса.

Іеромонахь Левъ (Жиллэ).

Переведено съ французскаго H. Γ о ρ о ∂ e ψ κ о $\ddot{\nu}$.

¹⁾ См. замътку въ которой Бальманъ говорить о себъ въ сборникъ Die Religion wissenschaft der Gegen-wart, опубликованномъ подъ редакціей Erich Stande, Leipzig 1918.

новыя книги.

Comte Hermann de Keyserling. Meditations sud-americains. 1932. Librairie Stock.

Блестящая книга, въроятно, лучшая изъ книгъ гр. Кейзерлинга. Она читается съ захватывающимъ интересомъ, какъ философскій романъ. По характеру своему она отличается отъ книги Кейзерлинга «Das Spectrum Europas». Это — цълая космогонія, видѣніе приморидіальнаго міра, истоковъ человѣчества. Видѣніе это Кейзерлингъ имъль въ Южной Америкъ. И во всякомъ случаъ книга эта --- цънный вкладъ въ эмоціональную психологію. Для Кейзерлинга міры зависять оть воображенія. Все создается образами. Познаніе не есть познаніе черезъ понятія, ему чужда діалектика. Познаніе его художественно-интуитивное. Онъ справедливо видитъ въ эмоціи способъ познанія. Источникъ интуицій и знаній Кейзерлинга, совсьмъ не книжный. Его нельзя причислить ни къ какому направленію или школъ. Онъ очень свободный человъкъ, свободный отъ всякаго догматизма, религіознаго, философскаго, научнаго, моральнаго, соціальнаго. Быть можеть отъ соціальнаго догматизма менфе свободенъ, такъ какъ въ немъ очень чувствуется связь съ аристократіей. Кейзерлингъ принадлежитъ къ людямъ, испытавшимъ отвращеніе къ современной цивилизаціи Европы и Съверной Америки, онъ хочетъ убъжать изъ современнаго міра и ищетъ другого міра. Онъ убъжденъ, что Россія и Азія идуть по тому же пути американизаціи, раціонализаціи и технизаціи. Это бъгство изъ современнаго міра можетъ происходить во времени и въ пространствъ. Романтики убъгали въ средневъковье, Ницше въ древнюю, досократовскую Грецію. Кейзерлингъ двигается въ пространствъ, онъ бъжитъ въ Южную Америку и тамъ открываетъ первобытный міръ и его своеобразную красоту. У Кейзерлинга есть большее вниманіе къ космической жизни и къ міру животному въ его философскомъ значеніи. И, конечно, есть огромный даръ наблюдательности надъ народами и цивилизаціями,

въ этомъ онъ сейчасъ не имѣетъ себѣ равнаго. Онъ раскрываетъ множественность человъческихъ типовъ въ противоположность единству и универсальности человѣческой природы, которыми такъ дорожитъ европейскій гуманизмъ. Основная установка Кейзерлинга натуралистическая, но въ утонченномъ смыслъ слова. И это несмотря на то, что онъ постоянно говорить о духъ. Наиболъе силенъ онъ, какъ психологъ, а не какъ метафизикъ. Основа философіи Кейзерлинга есть противоположеніе духа и земли. Духъ по существу отличается отъ природы, но онъ прорывается въ жизнь природы и спиритуализуетъ ее. Остается въчный конфликтъ природы и духа. Послъдняя метафизическая проблема основы и смысла міра не рѣшается и даже не ставится. У Кейзерлинга нельзя искать онтологіи. Сила его въ другомъ. Кейзерлингъ даже сомнъвается въ абсолютной цънности исканія истины. Онъ думаетъ, что тъ которые ищутъ истины, не любятъ красоты. Культъ истины — отъ грубости, культъ красоты отъ лжи. Но онъ все же принужденъ считать истиной то, что ему открылось, свою космогонію, свое пониманіе начала исторіи. Южная Америка лишь поводъ для раскрытія истоковъ человѣка, начала исторіи. Южная Америка — Magna Mater. Южно-американскій міръ называется третьимъ днемъ творенія. Такъ и называется самая блестящая глава. Книга Кейзерлинга очень интимная, его философія совершенно субъективная, личная. Поразительно его отношеніе къ Южной Америкъ и южно-американцамъ. И многое производитъ впечатлъніе разительнаго противоръчія. Съ одной стороны онъ плъненъ Южной Америкой, какъ прекрасной женщиной, и ищеть въ ней спасенія отъ европейскоамериканской раціонализаціи и технизаціи жизни, уповаетъ на южно-американскій ренессансь. И вмісті съ тімь открытія, которыя онъ дълаетъ на южно-американской почвъ, страшны и мрачны. Онъ проводитъ насъ черезъ дантовскіе круги ада. Для Кейзерлинга въ началъ былъ адъ, а не рай, и онъ убъдился въ этомъ, наблюдая надъ природой Южной Америки и надъ ея людьми, аргентинцами, бразильцами и др. Первоначально была женщина, а не мужчина. Но женщина эта змія, кровь ея холодна, она лжива. Женщина — комедіантка. Первобытная почва холодна, первобытныя существа принадлежать къ породъ хладнокровныхъ. Первична sencibilité и она связана съ холодностью. Нижняя бездна, изъ которой все возникло, инфернальна. Первобытный человъкъ не дитя, а инфернальное существо. Зло и уродство — корни жизни, добро и красота лишь цвъты. Въ началъ былъ страхъ и голодъ, страхъ передъ природой и страхъ передъ духомъ. Зло есть порожденіе страха. Кейзерлингъ открываетъ темныя bas-fond и онъ остаются для него господствующими. Основнымъ своимъ открытіемъ въ почвѣ Южной Америкѣ Кейзерлингъ считаетъ откры-

тіе земли, только тамъ она ему открылась. Кровь и земля опредъляють исторію. Исторической судьбой управляють не духовдъляютъ исторію. Исторической судьбой управляютъ не духовные, а теллурическіе люди. Глубина души не въ духъ, а въ землъ. Кейзерлингъ создаетъ основныя психологическія категоріи Gana и Delicadeza, взятыя изъ языка южно-американцевъ. Gana и естъ первичный душевной слой, противоположный духу. Кейзерлингъ ъздилъ въ Азію, знаетъ индуса и китайца. Но и индусъ и китаецъ представляются ему такимъ же человъкомъ, какъ и онъ самъ, они живутъ духомъ. Въ южно-американцъ онъ впервые встрътилъ человъка противоположнаго себъ, человъка теллурическаго, опредъляющагося исключительно землей, а не духомъ. Земля есть особая категорія мышленія Кейзерлинга въ этой книгъ и она, конечно, имъетъ иную глубину чъмъ та, которая открывается геологомъ и естествоисглубину чъмъ та, которая открывается геологомъ и естествоис-пытателемъ. Тутъ его можно сопоставлять съ Бахофеномъ. Интересно сравнить чувство земли, которое открывается Кейзерлингу въ Южной Америкъ, съ тъмъ, которое свойственно Россіи и русскому народу. Русскому народу всегда была свойственна теллурическая мистика, мистическая связь съ землей. Но земля въ созначеская мистика, мистическая связьсь землеи. По земля въсознании русскаго народа совсъмъ не есть эти темныя и жуткія basfonds, не есть царство эмъй и пресмыкающихся, не есть тотъ ужасъ, который открывается въ дъвственныхъ лъсахъ Аргентины и Бразиліи. Земля пронизана духомъ, она есть мать заступница и кормилица, она незамътно сливается съ образомъ Божьей Матери. Но русская земля не есть истоки міра и человъка, не есть примордіальная земля. То, что Кейзерлингъ видить въ Южной Америкъ, болье первично и изначально. Натурализмъ Кейзерлинга сказывается въ переоцънкъ значенія крови. Такое преувеличеніе значенія крови насчеть духа можеть дать оправданіе идеологіи расизма и аристократизма. Но очень хорошо говорить Кейзерлингь объ инфернальности всякой политики. Если всякая политика есть зло, то самое большее зло есть духовное оправданіе политики. Человъкъ превращается въ демона, когда духовное сознаніе оправдываеть то, что не есть духъ. Кейзерлингь повидимому очень дорожить этимъ дуализмомъ духа и земли, духа и политики, этой несоединимостью луха и плоти. Онъ утверживеть противоположность стью духа и плоти. Онъ утверждаеть противоположность права и справедливости. Онъ оправдываетъ матеріализмъ массъ нашей эпохи, видя въ немъ исканіе обезпеченія. Революція есть возстаніе противъ рока, противъ судьбы. Но Кейзерлингъ забываетъ прибавить, что она сама есть рокъ для тъхъ, противъ кого она направлена. Какъ и всегда у Кейзерлинга, повсюду разсыпаны очень тонкія замічанія по психологіи политики. Но эта сторона книги мнъ не представляется самой существенной и самой сильной.

Кейзерлингъ отталкивается отъ уродства, которое онъ

видитъ въ современной жизни, онъ видитъ его въ Съверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ и въ совътской Россіи, оно побъждаетъ и въ современной Европъ. Это уродство технической эпохи, оно связано прежде всего съ раціонализаціей и технизаціей, съ разрушеніемъ эмоціональной жизни. Только возстановленіе эмоціональной жизни можетъ возродить красоту. Эмоціональная культура для него существуєть только въ Испаніи и Южной Америкъ. И онъ пророчеть великую миссію Южной Америкъ, отъ нея долженъ пойти ренессансъ. Тутъ мы встръчаемся съ указаннымъ уже основнымъ противоръчіемъ въ книгъ Кейзерлинга. Bas-fonds раскрывающіяся въ Южной Америкъ — темныя и злыя, чуждыя духу. И новый эмоціональный порядокъ, который спасетъ отъ уродства раціонализаціи и технизаціи, пойдеть оть этихь bas-fonds. Смыслъ жизни Кейзерлингъ видитъ въ спиритуализаціи. А ренессансъ долженъ прійти отъ міра не только не спиритуализованнаго, но повидимому и неспособнаго къ спиритуализаціи. Недостаточно ясно, почему эмоціональная сфера сама по себъ способна создать новое общеніе людей. Вся космогонія Кейзерлинга основана на томъ, что свътъ рождается изъ тьмы. Это мысль родственная Шеллингу. И, конечно, это върно. Но bas-fond, раскрывающія-ся въ Южной Америкъ, не есть только тьма, онъ инферналь-ныя, злыя, это міръ падшій. Наименъе выясненнымъ остается, что такое духъ, который долженъ всему дать смыслъ. (1) Книга написана о землѣ, а не о духѣ, и самое интересное въ ней о землъ. Очень остроумна мысль Кейзерлинга, что духовное появляется въ образъ актера. Первоначальныя проявленія духовности связаны съ игрой, съ переодъваніемъ, съ секретомъ. Съ точки зрънія земли человъческій духъ не серіозенъ. Отвътъ, который даетъ духъ на печаль и несчастье земли, какъ будто не импонируетъ . Кейзерлингъ совсъмъ не хочетъ этимъ унизить духъ, скоръе наоборотъ. Но такъ получается потому, что въ книгъ не раскрывается тайна креста, какъ пересъченія духа и земли. Духъ нисходящій въ землю распинается и это крестное страданіе серіозно уже и съ точки зрънія земли. Кейзерлингъ думаетъ, что смерть не есть проблема духа, что для духа смерти не существуетъ, смерть существуетъ лишь для земли. Но такъ можно думать, совершенно раздъляя духъ и землю. Духъ вошедшій въ землю, воплотившійся переживаетъ трагедію смерти, для него существуетъ трагедія смерти. Въ стремленіи Кейзерлинга возстановить эмоціональную жизнь есть большая правда. Сейчасъ происходитъ разрушение центральнаго органа

¹⁾ Въ прежнихъ книгахъ Кейзерлинга чувствовалось вліяніе пониманіе духа въ индусской религіозной философіи. Въ этой книгъ онъ какъ будто отходитъ отъ индусской духовности, но не вполнъ.

человъка — сердца. Это явственно видно въ современномъ романъ. Остается интеллектуальная жизнь и жизнь чувственная, sensation, но нътъ жизни эмоціонально-сердечной. Ея нътъ у Пруста, у А. Жида. Это огромное различіе съ XIX в. Но какъ понять отношеніе эмоціональной жизни и духа? Это основной вопросъ. Для Кейзерлинга эмоціональная жизнь вкоренена въ bas-fond, а не въ духъ, она отъ земли, отъ ея темныхъ нъдръ. Что-то тутъ остается неяснымъ и неръшеннымъ, можетъ быть для Кейзерлинга и неразръшимымъ. Это связано съ тъмъ, что проблема Бога совсъмъ не ставится и остается неизвъстнымъ, имъетъ ли міръ смыслъ. Кейзерлингъ признаетъ феноменъ въры. Но для него важна сама въра, въра безъ гарантій, а не объектъ въры. Книга, очень мрачная и пессимистическая въ началъ, кончается мажорными тонами, она хочетъ привести къ радости. Въ ней есть что-то освобождающее. Но откуда познаніе Кейзерлинга, возвышающее его надъ инфернальнымъ мракомъ и ужасомъ? Откуда въра въ возможность радости? Тутъ мы переходимъ за предълы этой блестящей книги.

Николай Бердяевъ

Н. А. Сетницкий. О конечномъ идеале. 1932 г.

Книга издана въ Харбинъ, гдъ начали переиздавать «Философію общаго дѣла» Н. Ө. Өедорова и гдѣ печатались произведенія оедоровцевъ. Изъ оедоровской литературы книга Н. А.Сетницкаго быть можетъ наиболѣе интересная и значительная. Въней есть сосредоточенность и цѣльность. Поразительна судьба Н. Оедорова. Долгое время на него совсѣмъ не обращали вниманія, его не знали и не цѣнили. Лѣтъ двадцать тому назадъ появилось, кажется, двѣ всего статьи, въ томъ числѣ моя, въ которыхъ была дана очень высокая оцѣнка Н. Өедорову. Теперь уже существуетъ цѣлое еедоровское теченіе, Н. Өедоровъ оказался соотвътствующимъ какимъ-то запросамъ зпохи. Но Н. Өедоровъ сталъ популяренъ не въ змиграціи, онъ популяренъ въ совътской Россіи и на Дальнемъ Востокъ. Н. Сетницкій — одинъ изъ главныхъ представителей этого теченія и по немъ сможно судить о томъ, какъ преломились Өедоровскія идеи въ новую зпоху, въ зпоху совътскую и техническую по преимуществу. У. Н. Сетницкаго ослаблены злементы религіозно-традиціоналистическія, народническо-славянофильскіе и патріархально-родовые, которые сильны были у самаго Н. Өедорова. Книга Н. Сетницкаго, конечно, мало общаго имъетъ съ идеологіей матеріалистическаго коммунизма и даже борется съ ней, не называя ее по имени, но въ ней есть что-то совътское, очень современное, есть крайній актуализмъ, соціальность, исключительная обращен-

ность къ будущему. Въ дъятельности Госплана Н. Сетницкій готовъ видъть шаги къ осуществленію «прозкта» Н. Өедорова. Внутренно я вижу большое отличіе отъ Н. Өедорова. Паеосъ Н. Өедорова былъ прежде всего связанъ съ отношеніемъ къ умершимъ отцамъ, съ сыновней обязанностью ихъ воскресенія. Паеосъ Н. Сетницкаго есть прежде всего паеосъ строительства и регуляціи мірового хаоса, онъ обращенъ болѣе къ будущему, къ сыновьямъ, чѣмъ къ прошлому, къ отцамъ. Вся книга проникнута вѣрой въ могущество человѣка, въ его активное призваніе къ устроенію міровой жизни. Это положительная сторона книги. Чувствуются иногда остатки славянофильскихъ предразсудковъ по отношеніи къ западному христіанству. Но родовой натурализмъ въ значительной степени преодолѣвается. Книга въ большей своей части есть опытъ толкованія апокалипсиса Это толкованіе такъ же произвольно и условно, калипсиса Это толкованіе такъ же произвольно и условно, калипсиса Это толкованіе такъ же произвольно и условно, какъ и всѣ толкованія апокалипсиса. Но многое заслуживаетъ тутъ принципіальнаго сочувствія. Н. Сетницкій очень вѣрно устанавливаетъ отличіе пророчества отъ предсказанія. Пророчество не есть предсказаніе неотвратимаго, детерминированнаго, фатальнаго будущаго. Пророчество есть всегда также призывъ къ активному созиданію будущаго, раскрытіе путей, по которымъ долженъ идти человѣкъ. Вслѣдъ за Н. Өедоровымъ Н. Сетницкій даетъ актуальное истолкованіе апокалипсиса, онъ ръшительно противостоитъ тому пассивному пониманію апокалипсиса, которое преобладало, которое было у Вл. Соловьева и которое отражало упадочныя, идеализирующія смерть настроенія. Соціальную активность христіанства Н. Сетницкій пытается обосновать не на Евангеліи, а на Апокалипсисъ. Апокалипсисъ получаетъ совершенно соціальное истолкованіе, его символика оказывается соціологической. Н. Сетницкій всегда и во всемъ возстаетъ противъ мистики, какъ противъ источника пассивнности человъка. Онъ проникнутъ оптимистической върой въ разумъ, въ организацію, въ науку и технику, въ преодолимость всего ирраціональнаго и темнаго. Конечный идеалъ для него вполнъ осуществимъ. Основной вопросъ, который долженъ быть поставленъ Н. Сетницкому, какъ и самому Н. Өедорову, это вопросъ о злъ. Непонятно, откуда взялось зло, въ чемъ источникъ его силы въ міровой жизни? Для Н. Сетницкаго эло есть не что иное, какъ хаотическія, ирраціональныя, стихійныя силы природы. Но откуда эта хаотичность и ирраціональность природы? Трудно предположить, чтобы для Н. Сетницкаго возможно было зволюціонное объясненіе зла. Поразительно, что онъ совсѣмъ отказывается видѣть въ природъ и ладъ, красоту, отображение божественной премудрости, природа для него исключительно объектъ регуляціи, организаціи, раціонализаціи, къ ней возможно лишь активное

отношеніе, но совершенно невозможно отношеніе созерцательное. Въ этомъ міросозерцаніи совсѣмъ нѣтъ космологіи, проблема природы есть лишь проблема техники. Но сила техники въ тоже время есть проблема космогоническая. Еще болѣе важно отсутствіе у Н. Сетницкаго, какъ и вообще у Өедоровскаго направленія, сколько-нибудь выработанной антропологіи, философскаго и религіознаго ученія о человѣкъ, которое оправдывало бы такую вѣру въ активность и могущество человѣкъ ученія о личности. Остается неяснымъ, какъ и почему человѣкъ со всѣхъ сторочъ окруженный темной хаотической и ирраціосо всъхъ сторонъ окруженный темной, хаотической и ирраціональной природой, которая есть и внутри его самаго, въ силахъ побъдить эту тьму, хаотичность и ирраціональность. Почему разумъ человъка можетъ побъдить ирраціональность міровой жизни? Въ это върятъ и марксисты-ленинисты, но потому только, что они вносятъ гегелевскій панлогизмъ въ матерію, приписываютъ матеріи имманентный логосъ. Отъ отвъта на основной вопросъ о злъ, объ ирраціональности міра и объ источникахъ силы человъка зависитъ самое главное для оедоровскаго настроенія— побъда надъ смертью активностью человъка. Самъ строенія— побѣда надъ смертью активностью человѣка. Самъ я увѣренъ въ томъ, что побѣда надъ смертью невозможна безъ соучастія человѣка, безъ активности человѣка, что это дѣло бого-человѣческое. Но по нѣкоторымъ мѣстамъ книга Н. Сетницкаго можно заключить, что для него Христосъ только показалъ примѣръ воскресенія, побѣды надъ смертью, за которымъ должны послѣдовать другіе люди. Сводить къ этому христіанскую мистерію значить отрицать тайну креста и распятія, тайну Голгоеы. Христосъ смертью смерть попралъ, онъ побѣдилъ смерть вольнымъ ея принятіемъ и воскресеніемъ. Поэтому христіанству свойственно двойное отношеніе къ смерти. Но Н. Сетницкій повидимому не хочетъ никакихъ тайнъ и мистерій. Побѣда надъ смертью превращается прежде всего въ техническую (въ широкомъ смыслѣ) проблему. Въ книгѣ недостаточно говорится о двойственности техники и объ обостреніи техникой вопроса о духовномъ устроеніи человѣка. Мы знаемъ, какъ отстала техника медицинская отъ техники истребленія. Типъ міросозерцанія представленнаго Н. Сетницкимъ есть типъ соціологическаго міросозерцанія, въ немъ соціологія преобладаетъ надъ антропологіей и космологіей. И все-таки книга «О конечном идеале» представляется мнѣ интересной по своей проблеманом идеале» представляется мнъ интересной по своей проблематикъ, она есть шагъ впередъ въ христіанскомъ ученіи объ активномъ призваніи человѣка.

Николай Бердяевъ.

«Irénikon». Tt. VII—IX (1930—1932). Prieuré d'Amaysur—Meuse, Belgique.

Читатели «Пути», слѣдящіе за «экуменическимъ» движеніемъ нашего времени, хорошо знаютъ этотъ журналъ бельгійской конгрегаціи бенедиктинцевъ, которая занимаетъ особое мѣсто среди уніональныхъ католическихъ предпріятій. Амейцы вышли на свое служеніе, семь лѣтъ назадъ, съ совершенно новыми взглядами на работу для соединенія церквей. Не борьба, а миръ, не индивидуальныя «обращенія», а сближеніе исповъданій, подготовленное взаимнымъ пониманіемъ. «Ирениконъ» былъ скорѣе органомъ изученія восточнаго православія (преимущественно православія), чѣмъ его «возсоединенія». Намъ извѣстно, что за смѣлость и искренность своего подлинно христіанскаго почина бенедектинцы Амэ заплатили дорого. Они подверглись церковнымъ цензурамъ и должны были допустить перемѣны въ управленіи своей общины и составѣ редакціи. Мы, русскіе за рубежомъ, пользующієся почти абсолютной свободой въ экуменической работѣ, для которыхъ сближеніе съ инославными не стоить намъ никакихъ жертвъ, — мы должны съ особымъ уваженіемъ и признательностью отнестись къ иреническому служенію бельгійскихъ бенедиктинцевъ.

Какъ отразились редакціонныя перемъны и іерархическое давленіе на духѣ и направленіи журнала? Этотъ вопросъ прежде всего задаешь себъ, перчитывая томы послъднихъ годовъ. Первое впечатлъніе благопріятно. Попрежнему никакой полемики, серьезное, углубленное вниманіе къ восточному христіанству и даже сочувствіе къ нему. Однако есть и кое-что новое. Мы не находимъ прежняго отмежеванія отъ дъла римскихъ «уніонистовъ». Мъстами проглядываетъ безоговорочное признаніе «уніи» въ формъ католичества восточнаго обряда. «Ирениконъ» какъ бы становится въ ряды уніатовъ, — правда, чуждаясь всякой аггресивности и сохраняя духъ любви. Но признаніе цѣнности уніатской работы, вносящей расколъ въ тѣло православныхъ церквей, сразу мѣняетъ въ нашихъ глазахъ значеніе всего дѣла сближенія. Чѣмъ серьезнѣе и глубже оно ведется, тѣмъ опаснѣе оно, поскольку становится изъ цѣли средствомъ, оружіемъ духовнаго завоеванія. Я не хочу сказать, что предполагаю большую перемѣну во взглядахъ работниковъ Амэ на свое служение. Въроятно, современный курсъ журнала есть результать тяжелаго компромисса, навязаннаго извив. Все же, при полномъ сочувствій къ дъятелямъ «Иреникона», признаюсь, православному читателю тяжело следить въ немъ, на протяженіи цълаго года, за настоящимъ курсомъ К. Королевскаго по руководству уніатской работой.

По внъшнимъ или внутреннимъ мотивамъ число оригиналь-

ныхъ статей «Иреникона», особенно принципіальнаго характера, сильно сократилось. Много мъста удѣлено переводамъ. Изъ древнихъ авторовъ отмѣтимъ трактатъ Николая Кавасилы, житія святыхъ авонитовъ (можно оспаривать удачность этого выбора), изъ новѣйшихъ — статьи Вл. Соловьева, прот. Сергія Булгакова, проф. В. Н. Ильина. Характерно, что даже оцѣнка философіи Н. А. Бердяева дана въ переводѣ съ нѣмецкаго. «Ирениконъ», повидимому, сознательно видитъ теперь свою главную задачу въ информаціи.

Отдадимъ ему должное. Информація эта, поскольку рѣчь идеть о православной хроникъ, поставлена блестяще. Въ отличіе отъ большинства западныхъ журналовъ, посвященныхъ христіанскому Востоку, «Echos d'Orient» или «Christian East», «Ирениконъ» поставилъ въ центрѣ своего вниманія русскую Церковь. Не обладая какими-либо собственными источниками освѣдомленія, онъ съ исчерпывающей полнотой используетъ всѣ печатные документы, выходящіе въ Россіи и за границей. Для насъ русскихъ въ каждомъ N-ѣ найдется что-нибудь новое и важное о церковной жизни въ Россіи и въ эмиграціи. Нельзя не оцѣнить объективности журнала въ изображеніи нашихъ внутреннихъ конфликтовъ и расколовъ. Чувствуется, что эта объективность проистекаетъ не изъ холодности сторонняго наблюдателя, но изъ признанія трагической тяжести русской церковной проблемы.

Библіографія «Иреникона», быть-можеть, грѣшить чрезмѣрной широтой, вводя въ свой кругъ книги, весьма далекія отъ темы единенія церквей. Что касается русскихъ церковныхъ журналовъ, то положительно каждая статья, самая скромная, находить себъ изложеніе, иногда оцѣнку. Писатели нашего студенческаго «Вѣстника» и епархіальныхъ газетъ, навѣрное, удивились бы, увидѣвъ себя на міровой сценѣ. Странное испытываешь впечатлѣніе: точно мы, русскіе, находимся въ фокусѣ увеличительнаго стекла. Каждое слово, каждый жестъ регистрируется для друзей — и враговъ. Какую это создаетъ отвѣтственность!

Въ заключение одна фактическая поправка. Въ т. VII N 1 допущено смѣшение парижской «Религіозно-Философской Академіи» и «Богословскаго Института». Эта оплошность кажется непонятной на фонѣ безукоризненно точной информаціи «Иреникона».

Г. Федотовъ.



ТРАГИЗМЪ ВОЗВЫШЕННАГО И СПЕКУЛЯЦІЯ НА ПОНИЖЕНІЕ

Въ современной послѣвоенной и пореволюціонной формаціи людей всѣхъ націй поражаетъ низость сердець. Это есть нѣчто худшее чѣмъ паденіе. Падшій не достигъ предѣла низости: онъ еще знаетъ, гдѣ верхъ и гдѣ низъ. Но предѣлъ низости утверждаетъ, что никакого верха нѣтъ, а то, что называется «низкимъ», есть самое настоящее, полезное, цѣнное и непобѣдимое, чему и надлежитъ властвовать въ мірѣ. Современные дѣловые люди, вожди націй, партійцы всѣхъ родовъ, заново дрессируемая молодежь въ различныхъ блузахъ и рубашкахъ — всѣ эти люди поражаютъ иногда своей неспособностью къ правильному этическому сужденію. Потеряна нормальная эмоціональная реакція оцѣнки, то, что Паскаль называлъ «логикой сердца», потерянъ духовный слухъ.

Самая яркая форма такого помраченія выразилась въ парламентскомъ заявленіи коммунистовъ, которые доказывали свою непричастность къ уличнымъ убійствамъ тѣмъ, что ихъ доктрина признаетъ лишь массовый, а не индивидуальный терроръ. Это значитъ: Убійство оправдано тогда, когда оно совершается въ огромныхъ количествахъ и не только оправдано, но поставлено въ заслугу, возведено въ принципъ. Устанавливается странный принципъ пролетарской этики: пролетаріатъ можетъ всѣхъ угнетать и убивать, а его — никто!

Объ этихъ нравственно-помраченныхъ, страдающихъ искаженіемъспособности сужденія, сказано: «не вѣдаютъ, что творятъ». Этими словами Христосъ молился не за тѣхъ, кого легко простить, а за тѣхъ, кого всего труднтье простить: молился за распинателей, совершившихъ предѣльное преступленіе, когдалибо существовавшее на землѣ. Гораздо лучше тѣ, которые «вѣдаютъ, что творятъ», тѣ обыкновенные разбойники, которые знаютъ, что такое добро и гдѣ добро, но выбираютъ зло по слабости, по страсти, по корысти. Снова встаетъ проблема Сократа:

не есть-ли добродътель прежде всего знаніе? Конечно особое знаніе, знаніе добра и зла, способность безупречно оцтьнивать. Она не есть что-то само-собою разумъющееся. Существовали въка, когда человъкъ твердо зналъ, что такое добро, хотя и не имълъ силы его дълать! Таково классическое средневъковье.

имълъ силы его дълать! Таково классическое средневъковье. Но существуютъ иныя времена, когда это высшее знаніе сердца теряется — такова современность.

Исцъленіе этой слъпоты и глухоты можетъ быть найдено только въ христіанствъ, ибо оно даетъ великое расширеніе и углубленіе этическаго сужденія. Русская мысль и русская литература много дала въ смыслъ такого углубленія. Достоевскій и Толстой — это углубленная логика и діалектика сердца. Главная ихъ проблема — это проблема принятія преступленія во имя прогрессивныхъ, разумныхъ, соціальныхъ цълей. Есть нъчто пророческое въ этой постановкъ вопроса, въ томъ, что Толстой предвидитъ, что не преступленія индивидуальныхъ злодьевъ страшны для человъчества, а преступленія коллективовъ и государствъ, соціально-оправданныя преступленія; въ томъ, что Достоевскій предвидитъ, какъ на слезахъ замученныхъ будутъ строить и оправдывать «достиженія прогресса».

Странными кажутся иныя сужденія о совътской Россіи, исходящія отъ лицъ, признающихъ принципъ христіанской культуры, читающихъ библію. Они говорять: есть большія техническія достиженія, но къ сожальнію нътъ сво-

большія техническія достиженія, но къ сожальнію ньтъ свободы и личность подавлена. Но вся библія есть сплошное изо-

боды и личность подавлена. Но вся биолія есть сплошное изо-бличеніе такого строительства, которое построено на грѣхѣ и преступленіи, на отрицаніи цѣнности личности и угнетеніи. Свою изначальную и неумолимую противоположность христіанству марксизмъ прекрасно сознаетъ и постоянно подчеркиваетъ (онъ говоритъ: христіанство строитъ на любви, мы строимъ на ненависти!), ради нея онъ сохраняетъ понятіе матеріализма, философски уже совершенно вывѣтрившееся и почти ничего не означающее. Оно означаетъ однако еще противоположность духовности, противоположность христіанству. Если Богъ есть духъ, то оно означаетъ вражду къ Богу и вражду къ пуху къ духу.

Нужно философски понять сущность матеріализма и ду-ховности. Это двѣ установки сознанія. Дѣло идетъ вовсе не о старомъ матеріализмѣ и спиритуализмѣ, который хочетъ открыть субстанцію всѣхъ вещей и спорить о томъ, состоить ли міръ изъ матеріальныхъ атомовъ, или изъ духовныхъ монадъ! Современный матеріализмъ есть установка сознанія, методъ дъйствія и методъ пониманія, m o d u s v i v e n d i, возведенный въ принципъ. Марксъ возвелъ въ принципъ ту установку сознанія, которая въ 19 вѣкѣ стала всѣми молчаливо признаваться, хотя на словахъ лицемърно отрицалась. Всякій буржуа практически быль «экономическимь матеріалистомь» и еще продолжаєть имь оставаться. Этоть бытовой матеріализмь тоже есть особая религія и притомь низшая религія, существовавшая во всь времена. О ней сказано: «ихь богь — чрево!» Марксь обличаєть буржуазію не за то, что она цѣнить «экономическій фундаменть» и крѣпко вѣрить въ него, — онъ самь вѣрить только въ это — а за то, что она лицемѣрить и проповѣдуеть «духъ» и «духовность» для успокоенія души. Довольно ханжества, говорить Марксь, скажемь то, что всѣ давно думали: все построено на экономическомь фундаменть, на удовлетвореніи потребностей и на интересахъ, точь въ точь такъ, какъ учили классическіе буржуазные экономисты. Важно только, чтобы «экономическій фундаменть» не быль исключительно занять капиталистами, важно, чтобы на немь устроился пролетаріать. Или можеть быть пролетаріать не матеріалистичень? Можеть быть онь вѣрить во что-то другое, кромѣ потребностей и интересовъ? Такого пролетаріата Марксь не видѣль и не допускаль. Де-Мань свидѣтельствуеть намь, что всякій современный пролетарій мечтаеть только объ одномь: объ удовлетвореніи буржуазныхъ потребностей. Онь хочеть жить такъ, какъ живеть буржуазія. Это мѣщанскій идеаль. Заговорить объ одухотвореніи пролетаріата — значить отказаться отъ марксизма и перейти къ религіи.

Марксизмъ есть апофеозъ буржуазности и мъщанства, ибо онъ распространяетъ мѣщанство и буржуазность на все и на всъхъ, дѣлаетъ мѣщанство коллективнымъ, интернаціональнымъ. Настоящая противоположность буржуазности и мѣщанства есть духовность, а вовсе не коллективизмъ и не коммунизмъ. Возможенъ духовный коммунизмъ и такимъ былъ коммунизмъ первохристіанской общины, коммунизмъ любви, подвига и жертвы; онъ конечно былъ чуждъ всякаго мѣщанства, всякаго «экономическаго матеріализма». «Экономическій матеріализмъ» есть угашеніе духа прежде всего; христіанство напротивъ говоритъ: духа не угашайте!

ворить: духа не угашайте! Философію Маркса можно назвать спекуляціей на пониженіе. И это не простая иронія, а философская характеристика ея сущности.

Подлинная философія развертываетъ систему категорій бытія, систему ступеней бытія. Причемъ каждая ступень раскрываетъ новое качество бытія. Упрощая и схематизируя, мы можемъ намѣтить такія ступени:

- 1. Категоріи физико-химическаго бытія (матеріально-пространственные процессы).
- 2. Категорія органическаго бытія (растительно-животные процессы).
 - 3. Категоріи бытія психическаго (сознаніе и подсознаніе).

Это царство природы; надъ нимъ возвышается царство ду ха, или свободы. Духъ и свобода одно:

4. Категоріи бытія духовнаго, тоже имѣющаго нѣсколько ступеней: наука, техника, экономика, право, мораль, искусство религія.

Царство духа и свободы вводить насъ въ сферу творческихъ цѣнностей: техника, хозяйство, наука, искусство — суть цѣнности; нѣтъ творчества безъ оцѣнки. Вся эта лѣстница ступеней можетъ быть оцѣниваема; при чемъ здѣсь мы получаемъ соотношеніе высшихъ и низшихъ цѣнностей, высшихъ и низшихъ ступеней бытія: организмъ богаче и сложнѣе, чѣмъ простой механизмъ — и потому цѣннѣе; психическое бытіе богаче и цѣннѣе чѣмъ только физическое; духовное богаче и цѣннѣе психическаго.

Разсматривая эту іерархію ступеней, нетрудно замѣтить одинъ удивительный законъ ихъ соотношенія; онъ былъ формулированъ еще Аристотелемъ а затъмъ Гегелемъ: Всякая высшая ступень бытія и цѣнности предполагаетъ и содержить въ себѣ низшую, какъ условіе своей возможности: органическая жизнь предполагаетъ и содержитъ въ себъ всъ процессы механические и химическіе; психическая жизнь предполагаеть и содержить въ себъ процессы органической жизни. Духовная жизнь предполагаетъ и содержитъ въ себъ всъ психические процессы подсознанія и сознанія. Въ этомъ смыслѣ человтькъ во всей полнотѣ своей есть механизмъ, химизмъ (обмънъ веществъ), организмъ; есть неодушевленное растеніе, одушевленное животное, и наконецъ творчески-свободный духъ. Аристотель выражаетъ этотъ законъ соотношенія ступеней въ понятіяхъ формы и матеріи: всякая низшая ступень бытія есть матерія для высшей, которая есть ея новая форма; такъ, организмъ есть особая форма физикохимическихъ процессовъ; душа есть особая форма органической жизни. Духъ и свобода — особая форма психическихъ процессовъ. Ясно, что всякая новая и высшая форма предполагаетъ и содержить въ себъ предшествующую и низшую, какъ свою матерію. Она формируетъ ее по новому.

Такое соотношеніе формы и матеріи ясно показываеть, какъ возможень матеріализмь, и въ чемь его ошибка. Матеріализмомь будеть сведеніе (редукція) всякой высшей формы къ ея низшей матеріи. Матеріализмомь будеть сказать, что органическая жизнь сводится къ физико-химическимь процессамь, что человѣкъ есть въ сущности только животное, что сознаніе есть только нервный токъ; матеріализмомъ будеть сказать, что статуя есть только мраморъ, что музыка есть только звуковая волна; но точно такъ-же матеріализмомъ будеть сказать, что культура есть только особая форма хозяйства («экономическій матеріализмь») или сказать, что духъ есть только особая форма основной сек-

суальной психической энергіи, какъ это дѣлаетъ Фрейдъ (*) Это сведеніе высшихъ формъ на низшія можетъ остановиться на любой ступени: разные матеріалисты имѣютъ свою разную «матерію»: для Тимирязева «матеріей» являются физико-химическіе процессы; для Маркса «матеріей» является хозяйство (производство и распредѣленіе), для Фрейда «матеріей» является libido—въ сущности вовсе не матеріально-пространственный объектъ

Что же общаго у всѣхъ этихъ видовъ матеріализма? Ясно, что ихъ «матеріи» ничего общаго не имѣютъ между собою. Но общимъ остается методъ сведенія высшихъ формъ бытія на низшія: его мы и назвали спекуляціей на пониженіе.

Фундаментальную ошибку этого метода, идущую черезъ всю науку, черезъ всю философію, черезъ всю психику человѣка, на протяженіи вѣковъ, можно выразить въ слѣдующихъ утвержденіяхъ: «культура есть только хозяйство», «духъ есть только libido», «человъкъ есть только животный организмъ», «организмъ есть только механизмъ» — и въ этомъ заключается вся неправда! Именно: не только, но и! Движение по ступенямь внизъ не объясняеть ничего, необходимо движение по ступенямь вверхъ. Но какъ только мы скажемъ: не только, но и, такъ тотчасъ-же мы пробѣжимъ іерархію ступеней вверхъ: «не только мраморъ, но и форма красоты», «не только звуковая волна, но и гармонія», «не только природа, но и свобода», «не только процессы сознанія но и творческій духъ»; наконецъ: не только относительное, но и абсолютное. Вотъ это восхождение неприемлемо для марксизма, ибо оно приводить къ Абсолютному Духу, возводить къ абсолютной вершинъ, къ «Всевышнему».

Остается обратный путь спекуляціи на пониженіе: всегда говорить «только» (пиг), всегда сводить каждую форму на низшую матерію, но тогда уже не останавливаться и идти внизъ до первоматеріи, какъ это дълаетъ атомистическій матеріализмъ. Совътская философія не можетъ ръшиться ни на то, ни на другое; она останавливается на «матеріи» Маркса, на хозяйственномъ процессъ. Сказать, что это «только механика атомовъ» — значитъ потерять революціонный порывъ, прометеевскій духъ, титанизмъ; значить погрузиться въ механическій фатализмъ. Сказать: «не только механика атомовъ, но творческое изобрътеніе, но прометеевскій духъ, (всякое орудіе производства есть изобрътеніе, духовный актъ Прометея), — значитъ открыть категоріи свободы и духа, т. е. порвать съ матеріализмомъ и съ игрой на пониженіе. Совътской философіи не хватаетъ діалектики, не

^{*)} На эту аналогію справедливо указалъ С. Франкъ. «Психоанализъ, какъ міросозерцаніе». Путь No 25.

жватаетъ смѣлости договорить и домыслить до конца (*). Ибо діалектика и есть искусство мыслить до конца:

«Мудрецъ отличенъ отъ глупца Тъмъ, что онъ мыслитъ до конца»

Спекуляція на пониженіе діалектически требуетъ дойти до первоматеріи. Бюхнеру и Малешоту могло казаться, что это очень просто и ясно. Еще Тимирязевъ могъ думать, что мы обрѣтемъ твердый фундаментъ матеріализма въ атомистической механикъ и химіи. Но теперь такого фундамента въ наукъ не существуетъ. Первоматерія стала совсѣмъ проблематичной и грозить обратиться въ ничто. Детерминизмъ и «желѣзная причинность» пошатнулись. Лейбниціанство можетъ почти торжествовать побѣду: кванты точь въ точь похожи на монады!

Въ такомъ странномъ положеніи находится сейчасъ совѣтскій марксизмъ. Означаетъ-ли вообще что нибудь его «матеріализмъ»? Его матерія не означаетъ никакой матеріи и онъ никогда не рѣшается спросить, что такое матерія. Но его «матеріализмъ» означаетъ методъ спекуляціи на пониженіе. На этомъ онъ стоитъ твердо. Выраженіе «спекуляція на пониженіе» содержитъ въ себѣ забавную двусмысленность: оно означаетъ методъ объясненія, философскую спекуляцію понятіями, — а вмѣстѣ съ тѣмъ означаетъ методъ дѣйствія, особую спекуляцію цѣнностями, «игру на пониженіе» въ смыслѣ ставки на низшія цѣнности. Матеріализмъ имѣетъ теоретическое и практическижитейское значеніе.

Дѣло въ томъ, что сведеніе всего къ какой-либо низшей матеріи, которая тогда дълается послъднимъ основаніемъ и фундаментомъ всего — какъ у Маркса экономическій фундаментъ есть съ одной стороны признание этого фундамента, какъ существенной реальности, но съ другой стороны, признание его, какъ главной цънности; иначе говоря, какъ точки опоры въ теоретическомъ и практическомъ смыслъ. Если хозяйство есть самое существенное въ соціальной жизни, то оно и самое цтынное въ соціальной жизни. Въ этомъ смыслѣ экономическій матеріализмъ есть сужденіе оцівнки, изъ котораго вытекаетъ практическое поведеніе. То-же можно сказать о всякой другой спекуляціи на понижение: если человъкъ есть въ сущности «только животное» то простая животная жизнь есть самое ценное; если сущность психической энергіи есть сексуальность (libido), то сексуальность есть самое ценное и т. д. Во всехъ случаяхъ существуетъ постулать признанія истинной реальности за истинную цінность. Теоретическая философская «спекуляція» превращается

^{*)} См. объ этомъ интереснъйшую статью Н. Бердяева «Генеральная линія въ совътской философіи», «Путь» No 34. Приложеніе.

практическую норму поведенія, въ ставку на низшія цънности, на крѣпость экономическаго фундамента.

Спекуляція на пониженіе есть 1) извращеніе закона соотношенія категорій, который гласить: высшая категорія есть самостоятельное и новое качество бытія, несводимое къ низшему; она есть 2) извращеніе закона іерархіи цѣнностей, который гласить: низшую цѣнность нельзя предпочитать высшей. Но какъ разъ низшія цѣнности особенно для всѣхъ убѣдительны и популярны; въ признаніи преимущественной цѣнности «экономическаго фундамента» Чичиковъ вполнѣ согласился-бы съ Марксомъ и французскій буржуа съ русскимъ коммунистомъ.

Замѣчательно то, что игра на пониженіе въ теоріи и практикѣ всегда будетъ наиболѣе популярна. Въ этой популярности общедоступность всяческаго матеріализма и марксизма. Опусканіе всегда легче возвышенія— это законъ косности человѣческой природы, линія наименьшаго сопротивленія.

Съ какимъ восторгомъ человѣкъ узнаетъ, что онъ произошелъ отъ обезьяны, что онъ только животное, только матерія, что святая любовь есть только сексуальность и т. д. Повидимому всякое «только» доставляетъ глубокое облегченіе, тогда какъ всякое «не только» тревожитъ, побуждаетъ къ усилію. Съ какимъ увлеченіемъ и съ какой виртуозностью люди раскрываютъ всяческую «подноготную», обнаруживая всюду корысть и похоть. Для лакея нѣтъ великаго человѣка и для хама всякій выше стоящій есть «деспотъ, пирующій въ роскошномъ дворцѣ». Въ чемъ павосъ этой странной жажды пониженія (*), этого движенія аи героиг? Это пафосъ профанаціи, который противоположень пафосу сублимаціи, павосу возвышеннаго.

Павосомъ профанаціи живеть и дышеть Мефистофель и Петръ Верховенскій (одинъ изъ «Бѣсовъ»). Но ту-же установку мы встрѣчаемъ у Маркса и Фрейда. То, что объединяетъ ихъ всѣхъ — это убѣжденіе, что все святое и возвышенное есть только иллюзія (ср. заглавіе Фрейда «Die Zukunft einer Illusion»).

Въ этомъ принципіально философскомъ смыслѣ, а не только разговорномъ, павосъ Маркса и Фрейда есть павосъ профанаціи. Отсюда — эстетическая и этическая отвратность марксизма, отсюда — абсолютная неудача всякаго марксистскаго искусства, отсюда — хамскій стиль прессы («кулацкіе и лѣвацкіе загибы и перегибы», «генеральная линія», «женофикація»); искусство и этика есть сублимація, а марксизмъ есть профанація. Сущность профанаціи состоитъ въ сведеніи всего на низшіе мотивы: религія есть страхъ и корысть жрецовъ; любовь есть сек-

^{*)} Ср. у Достоевскаго въ Бѣсахъ: «сроемъ высокія горы» всякій геній потушимъ въ младенчествѣ».

суальность «безъ черемухи». Въ результатѣ — нътъ ничего святого, и отсюда — послѣдній шагъ: принятіе преступленія. Напротивъ, сущность сублимаціи есть переходъ къ высшимъ формамъ и ступенямъ бытія, чувство возвышеннаго, благоговѣніе. Сублимація предполагаетъ высоту и совершенство, предполагаетъ «Всевышняго». Этимъ объясняется вражда къ Всевышнему и отвращеніе ко всякому благоговѣнію въ марксизмѣ и во всякой спекуляціи на пониженіе.

Намъ могутъ однако возразить, что хотя профанація и отвратительна, но обличеніе имѣетъ цѣнность и даже свое величіе. Не есть-ли павосъ Маркса и марксизма прежде всего пафосъ обличенія? Не обличалъ-ли Марксъ непрерывно грѣхи

буржуазіи?

Возраженіе законное и діалектически-необходимое. Обличеніе необходимо отличать отъ профанаціи. Обличеніе есть дъло пророковь, и оно возможно лишь предъ лицемъ Божіимъ, возможно лишь для того, кто повернулся лицемъ къ Богу. Профанація есть дѣло Мефистофеля и она возможна для того, кто повернулся спиною къ Богу, кому противно небо («оставимъ небо воробьямъ и попамъ»).

Обличеніе имъетъ своею цълью вернуть человъка къ Богу. Профанація имъетъ своею цълью отвратить человъка отъ Бога. Смъшно было-бы думать, что Мефистофель хотълъ «обличать» Фауста. Это совсъмъ не его роль. Пророческій павосъ смъшонъ для Мефистофеля, также, какъ онъ смъшонъ для Маркса. Пророкъ безъ Бога, или пророкъ, отрекшійся отъ своего Бога — жалокъ и смъщонъ.

Обличеніе имфетъ своею цфлью показать ложную сублимацію, ложное возвышеніе, для того, чтобы возстановить истинную сублимацію, истинное возвышеніе. Но истинная сублимація возможна только для того, кто знаетъ категорію «возвышеннаго», «святого», кто знаетъ Всевышняго, кто знаетъ іерархію бытія и іерархію цінностей. Истинная сублимація для Фрейда и Маркса невозможна, ибо для нихъ свозвышенное и святое» являются иллюзіями. Смѣшно было бы Фрейду обличать своихъ паціэнтовъ въ сексуальности. Точно такъ-же смѣшно Марксу обличать буржуазію въ буржуазности, ибо это значилобы требовать духовности. Смъшно обличать ее въ классовомъ эгоизмъ и въ борьбъ съ интересами пролетаріата, ибо въ этомъ выражается классовая природа человъка. Но всего смъшнъе обличать въ эксплуатаціи/ Слово «эксплуатація» лишено всякого смысла въ марксизмѣ, равно какъ и въ дарвинизмѣ, и во каузально-натуралистическомъ міросозерцаніи. На счетъ «эксплуатаціи» каждому марксисту надлежить зарубить себъ на носу слова Спинозы: «Большія государства поглощають малыя по тому-же закону, по какому большія рыбы поглощають малыхь», — по тому-же самому, добавимь мы, по какому кулаки поглощають бѣдняковъ! Въ такомъ міросозерцаніи не возникаеть проблемы права и справедливости, нѣть мѣста для абсолютной цѣнности личности и для идеи свободы, не существуеть идеи грѣха. Объ эксплуатаціи имѣли право говорить древне-еврейскіе пророки и Христосъ, но не Марксъ. Обличительная поза пророка непристойна для того, кто пророчество считаеть «опіумомъ для народа». Обличать — значить раскрывать «низменное», но «низменное» существуеть лишь для того, кто чувствуеть «возвыщенное». Кто отрицаеть возвышенное и святое — для того не существуеть низменнаго и грѣшнаго. Какъ-же онъ можеть кого-либо обличать?

Спиноза понималъ, что натуризмъ и детерминизмъ не даютъ права «ни оплакивать, ни осмъивать». Марксъ никогда не могъ этого понять. Въ силу полной неспособности осознать свои философскія предпосылки, онъ даже не видитъ диллеммы: или право оцънивать и обличать — или міросозерцаніе марксизма! одно исключаетъ другое. Марксъ оцъниваетъ на каждомъ шагу «оплакиваетъ и осмъиваетъ», но, не понимая, что такое оцънка и не зная іерархіи цънностей, онъ оцъниваетъ ложно.

и не зная іерархіи цѣнностей, онъ оцѣниваетъ ложно.

Цѣнности, безсознательно, признаются и здѣсь, но это цѣнности величины, а не величія, цѣнности высокаго (небоскреба), а не возвышеннаго, цѣнности нагло-сильнаго, а не благороднаго. Мы получаемъ религію власти, силы, земли, чрева, князя міра сего, звѣря. Библейскіе символы, начиная съ Вавилонской башни, Навуходоносора, и кончая апокалиптическимъ звѣремъ, совершенно точно выражаютъ такую установку сознанія. Идеалъ деспотически-организованнаго, универсально властвующаго коллектива есть современное выраженіе такой установки. Можетъ показаться, что здѣсь тоже есть нѣкоторая своеобразная сублимація, но это иллюзія: здѣсь нѣтъ перехода къ высшимъ духовнымъ ступенямъ бытія, а есть только наростаніе и увеличеніе той-же самой низшей ступени, есть самовозвеличеніе и самораздуваніе («своею собственной рукой»), дающее не подлинное величіе, а только величину.

На противоположной точк зрвнія стоить христіанство. Оно утверждаеть цвиность возвышеннаго, а не высокаго, святого, а не сильнаго; цвиность величія, а не величины (царство не оть міра сего, сила, которая въ немощи совершается, зракъ раба, кресть). Легко замвтить, что такая точка зрвнія гораздо труднве для челов ка, чвмъ противоположная ей ставка на силу и величину. Сублимація нелегка, она требуеть риска, жертвы, подвига. Низшія цвиности хозяйства и власти кажутся куда болве крвпкими и надежными, тогда какъ героизмъ и святость кажутся рискованными и эфемерными, постоянно идущими навстрвчу смерти и разрушенію.

Нѣкоторая естественная косность человѣка, постоянное стремленіе «опускаться», постоянное предпочтеніе, оказываемое низшимъ цънностямъ маммоны, имъютъ глубокое основаніе въ особомъ законъ соотношенія категорій бытія и ступеней цѣнностей. Законъ этотъ со всей философской строгостью и неумолимостью формулированъ Н. Гартманомъ въ его «Категоріальныхъ законахъ». Онъ гласить слъдующее: высота категоріи обратно пропорціональна ея силть. Высшія формы бытія суть наиболъе сложныя, обусловленныя, зависимыя и потому наиболъе слабыя и хрупкія; тогда какъ низшія формы наименъе обусловлены и потому наиболъе безусловны и кръпки. Жизнь человъка на землъ требуетъ безконечно сложной суммы условій въ космическомъ смыслъ: особой температуры солнца, особой конструкціи земли, наличности воды и воздуха, иначе говоря сложнъйшей суммы условій, представляющихъ, какъ думаютъ нъкоторые астрономы, ръдчайшее, а можетъ быть и единственное исключение во вселенной. Если хоть одно изъ этихъ условій пошатнется, то немедленно рухнутъ всѣ высшія ступени и формы жизни: прекратится культура, исчезнетъ человъкъ, исчезнетъ органическая жизнь; однако камни и скалы на землъ, какъ на лунъ, еще останутся, ибо они гораздо прочнъе, требують гораздо меньшаго количества условій для своего существованія. Что же касается механики атомовъ и химическихъ процессовъ, то она вообще останется незыблемой при всякой міровой катастрофъ, при всякой гибели земли, ибо низшая ступень физико-химическаго бытія есть самая прочная ступень. Другой примъръ: человъкъ умираетъ и превращается въ трупъ, который разлагается; исчезають высшія формы психической и органической жизни, но физико-химическіе процессы, происходящіе въ трупъ, сохраняются незыблемыми. Они индифферентны къ жизни и смерти. Имъ ничто не страшно, они продолжаютъ свое ненарушимое дъйствіе. Скелетъ безконечно болъе проченъ, въ своей ужасающей простотъ, чъмъ хрупкій и геніально построенный живой организмъ. Бытіе пирамиды кръпче и сильнъе, нежели жизнь фараона. Это очень грустный законъ, нъчто вродъ всеобщей энтропіи. Если серьезно вдуматься въ него, то намъ откроется законъ всеобщаго трагизма бытія, которому грозить всеобщее снижение, обратное падение къ самымъ низшимъ ступенямъ, къ первобытной туманности. Надо спасать полноту высщихъ ступеней жизни, ихъ блестящій расцвѣтъ, а для этого нужно чудо, нуженъ Спаситель!

Здѣсь открывается поразительное прозрѣніе космическаго трагизма, хорошо извѣстное великимъ религіямъ человѣчества, какъ индуизму, такъ и христіанству. Все возвышенное, благородное, драгоцънное — есть, вмъсть съ тьмъ, самое хрупкое, и уязвимое. Человѣкъ болѣе уязвимъ, нежели растеніе; растеніе

— болѣе уязвимо, нежели камень; благородное растеніе, какъ роза и виноградъ, гораздо менѣе живуче, чѣмъ бурьянъ и плющъ; низшія и смертносныя бактеріи обладаютъ невѣроятной устойчивостью и силой сопротивленія. Какъ разъ самое высшее можетъ страдать и умирать, а не самое низшее. Притомъ, Сократа легче убить, нежели Сиракузскаго тирана, Христа легче убить, нежели Пилата, а потому не поклониться-ли префекту и тирану, которыхъ нельзя убить и которые сами могутъ всѣхъ убить? Такъ всегда разсуждаетъ толпа, ей всегда импонируетъ фактъ силы, власти, величины. Она всегда дѣлаетъ ставку на низшее, но болѣе крѣпкое. На этомъ построено уваженіе ко всяческой диктатурѣ и прежде всего — къ диктатурѣ пролетаріата: устроить пролетаріатъ такъ, чтобы его никто не могъ обидѣть, а онъ самъ могъ всякаго обидѣть! На этомъ же построено и уваженіе къ домовладыкѣ въ комедіи Островскаго: «Кто тебя, батюшка, обидить? Ты самъ всякаго обидишь».

Исторія героевъ, мучениковъ, пророковъ и святыхъ есть великое подтвержденіе закона трагизма, закона слабости и хрупкости высщихъ формъ жизни. Но вотъ что особенно удивительно: какъ разъ, когда онъ гибнутъ, онъ выше всего. Таково свойство возвышеннаго — оно легко гибнетъ, оно не защищается, даже какъ бы ищетъ гибели, жертвуя собой. Притомъ, если бы этой гибели не было, то и жертвы бы не было, не было бы поэтому и величія и святости. Такъ что въ самой слабости высщихъ ступеней какъ бы удостовърена ихъ подлинная высота.

Нужно извъстное величіе души, чтобы понять красоту риска, жертвы, гибели. Только для благороднаго человъка рискъ есть «благородное дъло». Одни это понимаютъ сразу, другіе — никогда. Таковъ въчный и всемірный Чичиковъ. Для него прочность низшихъ формъ бытія всегда цъннъе эфемерности и хрупкости высшихъ, синица въ руки всегда цъннъе журавля въ небъ. Онъ всегда отклонитъ героизмъ тъмъ неотразимымъ доводомъ, какой примънилъ анекдотическій солдатъ: «Лучше полчаса быть трусомъ, чъмъ потомъ всю жизнь быть покойникомъ». Огромное большинство всегда признаетъ безопасность, силу, власть и богатство надежнъе и цъннъе святости, героизма, красоты и величія. Но если власть и богатство соединены съ преступленіемъ? Здъсь уже начинаются колебанія: не такъ легко принять преступленіе. Но колебанія не долгія: преступленія удавшіяся, и въ особенности преступленія коллективныя, легко забываются: побъдителей не судятъ, и горе побъжденнымъ! Нътъ болъе безнравственной и противо - христіанской поговорки.

Но именно это изреченіе — «побъдителей не судять», это невольное преклоненіе передъ фактомъ и силой и величиной — лежить въ основъ всъхъ большевизанствующихъ сужденій, ко-

торыя пріемлемы для какой угодно морали, но только не для христіанской. Говорять: да, нѣтъ свободы, но есть большое строительство. Это значить: угашается духъ, но процвѣтаетъ матерія; убивается личность, но живетъ машина. Можно ли сомнѣваться въ оцѣнкѣ такого быта съ христіанской точки эрѣнія? «Побѣдителей не судятъ» — вотъ классическое искаженіе нравственнаго сужденія.

Этотъ странный законъ, что все самое высшее, самое благородное есть самое хрупкое и разрушимое — выражаетъ трагизмъ бытія. Онъ встрѣчаетъ насъ на каждомъ шагу въ обыденной жизни. Вотъ я слушаю часы моего дѣда, и меня изумляетъ точный ритмъ ихъ стального сердца. Онъ звучитъ и будетъ звучатъ, когда живыя сердца владѣльцевъ давно умолкли и умолкнутъ. Есть глубокій трагизмъ въ одеждѣ, принадлежавшей умершимъ близкимъ: странно безсмертіе этихъ незначительныхъ тряпокъ въ сравненіи съ бренностью и смертью существъ, полныхъ безконечнаго значенія. Но судьба всякаго трагизма и всякаго страданія таинственнымъ образомъ сближаетъ насъ съ трагизмомъ Голгоеы, и это потому, что крестъ и Голгоеа есть наиболѣе полное выраженіе сущности и глубины трагизма. Въ судьбъ каждаго, поскольку она приближается къ подлинному трагизму, есть удивительное сходство съ судьбою Христа: начиная съ этихъ оставшихся одеждъ, о которыхъ чужіе люди «мечутъ жребій», и кончая измѣною ученика, издѣвательствомъ толпы и «богооставленностью» въ моментъ наивысшаго подвига. Кто совершенно не знаетъ трагизма, тому Христосъ ничего не говоритъ. Есть трагизмъ въ каждой «слезѣ человѣческой», но вер-

Есть трагизмъ въ наждой «слезѣ человѣческой», но вершина и предѣлъ трагизма лежитъ не въ бодѣзни, смерти и страданіи (какъ думалъ Будда), а въ торжествѣ зла и униженіи добра. Самое божественное подвергается оплеванію. Самое возвышенное (самъ «Всевышній») обрекается на самую низкую участь. Богочеловѣкъ распинается. Вотъ подлинный трагизмъ. Если въ этомъ послѣднее и вѣчное слово безсмысленной «необходимости», (ἀνάγκη) тогда всему конецъ, тогда не стоитъ жить, стремиться и дѣйствоать, тогда нельзя принять міра, какъ думалъ Достоевскій, тогда нельзя принять Бога, какъ думалъ Достоевскій, тогда нельзя принять Бога, какъ думалъ Іовъ. Если-бы это было такъ, то всякій трагизмъ (а въ сущности и комизмъ) убивалъ-бы душу. Но трагизмъ не убиваетъ, а очи-

Если-бы это было такъ, то всякій трагизмъ (а въ сущности и комизмъ) убивалъ-бы душу. Но трагизмъ не убиваетъ, а очищаетъ (καθάρσις) и возвышаетъ, даже восхищаетъ. Въ этомъ чудо трагизма: какъ можетъ трагедія, т. е. гибель и смерть, восхищать и быть прекрасной? Зачѣмъ идутъ въ театръ проливать слезы? Странная діалектика трагизма состоитъ въ томъ, что гибель героевъ и мучениковъ она превращаетъ въ побѣду, что конецъ она превращаетъ въ начало чего-то иного, — что въ «безвыходности» она предчувствуетъ выходъ. Выходъ, трансъ — есть великое дѣйствіе трагизма. Трагизмъ какъ-бы вырываетъ

изъ жизни, изъ плоскости быта и ежедневности. Въ этомъ есть скрытая радость и упоеніе:

Все, все, что гибелью грозить Для сердца смертнаго таить Неизъяснимы наслажденья, Безсмертья можеть быть залогь.

Радость состоить въ томъ, что въ трагизмѣ (а равно и въ юморѣ) духъ, т. е. подлинное глубинное я, впервые переживаетъ и осознаетъ свое царственное достоинство, свою абсолютную свободу отъ всѣхъ низшихъ ступеней бытія, отъ всякой природы и отъ всякой необходимости. Но это особое достоинство и особая свобода: она принадлежитъ только тому, кто готовъ пройти черезъ трагизмъ, кто имѣетъ абсолютное мужество не дрожать за жизнь. Кто не боится «угрозы гибелью» — тому данъ «залогъ безсмертія». А кто «душу (жизнь) свою сохраняетъ, тотъ погубитъ ее». Въ «Назначеніи человѣка» Фихте такъ выражалъ эту свободу духа, возвышающагося надъ всѣми категоріями природы. Онъ обращается къ природной необходимости: ты можешь уничтожить мое тѣло, бросить на меня высокія горы, стереть меня съ лица земли, но ты ничего не можешь сдѣлать съ моей свободной волей, съ моимъ свободнымъ «да» или «нѣтъ», которое продолжаетъ навѣки звучать въ самой моей гибели! Вотъ прометеевское сознаніе духа въ трагизмѣ. Но оно дается только тому, кто раздѣляетъ судьбу страдающаго Бога.

Духъ открываетъ здѣсь вѣчное идеальное царство смыс-

Духъ открываетъ здѣсь вѣчное идеальное царство смысловъ, къ которому принадлежить онъ самъ и его идеальныя оцѣнки и утвержденія. Пусть гибнетъ Ромео и Джульетта, но вѣчный смыслъ ихъ любви и вѣчная гармонія ихъ индивидуальностей пребываетъ неизмѣнно, несмотря, или вѣрнѣе — благодаря ихъ гибели. Пусть умираетъ Сократъ, но вѣчный смыслъ его мудрости и вѣчная тема его судьбы именно и увѣковѣчены его смертью. Сила ихъ всѣхъ состояла въ томъ, что въ «угрозѣ гибелью» они нашли «залогъ безсмертія», въ томъ, что свое «да» и «нѣтъ» они сказали разъ навсегда: «да» — своей любви и своимъ святынямъ; «нѣтъ» — всѣмъ силамъ и противодѣйствіямъ міра и людей. Таково безсмертіе героевъ, мучениковъ и святыхъ. Оно состоитъ въ вѣчномъ значеніи ихъ смысла, въ постоянной побѣдѣ ихъ идеала. Само христіанство есть мощный историческій аргументъ, доказывающій, что пораженіе (крестъ) можетъ означать побѣду («симъ побѣдишь»).

Какъ ни величественна такая идеальная сила духа, такое преодолъніе трагизма черезъ безсмертіе, однако она не составляетъ послъдняго слова христіанства. Въдь оно было-бы въ концъ-концовъ безсмертіемъ вточной памяти, только идеальнымъ сохраненіемъ и спасеніемъ всего цъннаго въ иномъ планъ бытія,

«на томъ свѣтѣ», въ царствѣ идей Платона, въ «умномъ мѣстѣ» Плотина. «Этотъ свѣтъ» оставался бы предоставленнымъ смерти и разрушенію, непреображеннымъ и неспасеннымъ. Царство Божіе оставалось-бы на небеси, но не на земли. Для христіанства такая «идеальная» побѣда недостаточна: она есть развоплощеніе Логоса и противорѣчитъ идеѣ воплощенія и Воскресенія. Идеальное торжество, которое переживается въ трагизмѣ, должно превратиться въ реальное торжество. Смерть, гибель, страданіе, крестъ — не есть послѣднее слово для христіанства. Идеальная побѣда мученика и святого и «вѣчная память» о немъ — тоже не послѣднее слово. Только реальное Воскресеніе Христово и реальное преображеніе (обоженіе) всего міра есть послѣднее слово. Это значитъ: то, что заслуживаетъ жизни — будетъ жить; то, чему нельзя умереть — не умретъ.

Иначе не можетъ утверждать религія абсолютно желаннаго, религія, объщающая исполненіе всъхъ завътныхъ упованій человъка, объщающая, что «отрется всякая слеза человъческая». Можно восхищаться величіемъ мученика и святого, можно молиться на него, но нельзя желать, чтобы мучениковъ всегда мучили и Богочеловъка всегда распинали. Нельзя устранить изъ человъческаго сердца желанія полной и мощной побъды высшихъ цѣнностей и святынь, ихъ воплощенія на землѣ и во всемъ космосъ («Да пріидеть Царствіе Твое»). Мы въримъ въ конечную побъду добра и внутреннее саморазрушение зла и не върить не можемъ. Въ этой въръ нътъ ничего произвольнаго: атеисты также върятъ въ реализацію своего идеала, какъ и «върующіе», только они дълаютъ ставку на низшее, чтобы было надежнъе и прочнъе. Тотъ, кто дълаетъ ставку на высшее, долженъ обладать мужествомъ риска, но отказаться отъ вѣры въ побъду онъ тоже не можетъ. Полное невъріе дълаетъ невозможнымъ какое-либо дъйствіе. Полная неисполнимость желаній должна обосновывать иную религію: не религію абсолютножеланнаго (христіанство), а религію абсолютнаго отказа отъ всъхъ желаній (буддизмъ).

Всякое творчество духовно и есть въра въ побъду духа, въ покореніе низшихъ категорій высшими, въ покореніе природы черезъ свободу. Если бы существовалъ только одинъ законъ слабости всего высшаго, то все высшее давно разрушилось-бы и даже, собственно, вовсе не могло бы явиться. Если-бы существовалъ только законъ энтропій, какъ законъ всеобщаго охлажденія и космическаго уравненія температуры, то жизнь просто была бы невозможна. Ибо жизнь построена на прямо противоположномъ законъ: на согръваній, въ противоположность охлажденію, на созданій контрастовъ, въ противоположность всеобщему уравненію температуры. И духовная жизнь построена на прямо противоположномъ законъ: не на пониженій, а

на сублимаціи, на возможности кртьпости, силы и побѣды возвышеннаго и святого, на возможности пришествія Царствія Божія. Если бы святость и кртьпость были навѣки и принципіально разобщены, то жизнь духа, то-есть сублимація, творчество, воплощеніе, были бы принципіально невозможны. Святость и кртьпость на каждомъ шагу разобщены въ жизни и въ исторіи, въ этомъ ея трагизмъ, но въ концть концовъ онѣ едино и будуть объединены. Въ этомъ существо вѣры, ибо Богъ есть Святый Кртьпкій, Святый Безсмертный. Богъ и есть то, что существуеть «въ концть концовъ» и что должно быть «въ концть концовъ», Альфа и Омега.

Христіанство върить въ то, что Богь есть Святый Крѣпкій, а потому побъда святого и возвышеннаго въ концъ концовъ обезпечена, она заложена въ глубочайшей сущности духа. Но только «въ концъ концовъ», а не на каждомъ шагу и немедленно, не въ любомъ среднемъ пунктъ жизни и исторіи, между началомъ и концомъ, между Альфой и Омегой. Русскій народъ върить, что «Богъ правду видить, да не скоро скажеть» — иногда впрочемъ, Онъ говорить ее очень скоро, даже тотчасъ (alle Schuld rächt sich auf Erden — думалъ Гете), но иногда «небеса молчатъ» до времени... чтобы тъмъ мощнъе и ужаснъе сказать потомъ свое слово: Мнъ отмщеніе, и Азъ воздамъ! Часто люди не умъють или не хотять услышать сокрушающее слово Божества, звучащее въ исторіи. По настоящему его умъють слышать только пророки, и только они имъютъ смълость его высказать людямъ, за что и побиваются камнями, ибо слово это часто непереносимо для человъка.

Величіе христіанства и древняго еврейства состоить въ томъ, что они поднимають духъ человѣка на вершину этическаго сужденія, открывая своеобразную діалектику оцтыки. Вотъ ихъ два принципа:

Во первыхъ, умѣніе понять и усмотрьть ничтожное въ томъ, что властвуетъ и торжествуетъ, умѣніе увидѣть отсутствіе величія въ величинѣ (въ колоссальномъ). Такова ветхозавѣтная діалектика пророковъ, уничтожающая цѣнность Вавилонской башни и Навуходоносора. Она была вполнѣ воспринята Христомъ, который, однако устанавливаетъ другой, новый принципъ.

Второй принципъ: умѣніе оцтьнить возвышенное, хотя бы оно было униженнымъ, умѣніе узнать Царя въ «зракѣ раба», Умѣніе узрѣть Бога въ Томъ, кто «виситъ на древѣ». Это другая діалектика, діалектика Новаго Завѣта, но, предполагающая первую. Мѣщанство говоритъ: «побѣдителей не судятъ», а пророки только и дѣлаютъ, что судятъ побѣдителей. Мѣщанство говоритъ: «побѣдителей не судятъ», а христіанство утверждаетъ: князь міра сего осужденъ.

Но діалектика Ветхаго и Новаго Завѣта идетъ далѣе: она связываетъ идеальное осужденіе съ реальнымъ разрушеніемъ; идеальное одобреніе и освященіе съ реальной побѣдой. Діалектика пророковъ утверждаетъ, что всякое ложное торжество, ложное возвышеніе, надменіе — разрушаются внутренне и необходимо. Діалектика христіанства утверждаетъ, что всякое униженіе возвышеннаго, всякая гибель божественнаго и святого даруютъ побѣду и воскресеніе. Тотъ и другой діалектическій моменть закрѣпленъ Христомъ: низложи сильные со престолы и вознеси смиренные!

Трагизмъ состоитъ только въ томъ, что въ исторіи, во временномъ, переходномъ, серединномъ планъ бытія, мы видимъ постоянное разобщеніе, конфликтъ, антиномію величія и силы, святости и кръпости. И преодолъвать эту антиномію можеть только тотъ, кто знаетъ это разъединение (какъ зналъ Іовъ и пророки, и Христосъ), не страшится его, и вмѣстѣ съ тѣмъ вѣритъ въ его послѣднее преодолѣніе. Высшій принципъ жизни и творчества антиномиченъ и трагиченъ: знать слабость и хрупкость возвышеннаго и святого и, рискуя его гибелью, искать побъды и кръпости. Никогда не искать кръпости и силы, отказываясь отъ высоты, но, сохраняя всю устремленность къ высшимъ святынямъ и цънностямъ, искать ихъ укръпленія и усиленія, зная, что всякая неудача въ сублимаціи есть удача своего рода, есть героическій жесть, указующій ввысь и предвосхищающій конечное достиженіе. Христіанство имъетъ свою діалекти-ку трагической побъды: «Симъ побъдишь», «не оживетъ, аще не умреть», смертію попирается смерть (negatio negationis), побъждаетъ тотъ, кто жертвуетъ. Антиномія святости и кртьпости рѣшается въ Богѣ, ибо Онъ одинъ есть единство всѣхъ противоположностей, Онъ одинъ есть Святый Кртьпкій. Вѣра въ абсолютную разртышимость трагизма (вѣра въ Параклета, «Утѣшителя») составляеть сущность христіанства. Безъ нея невозможна жизнь. Параклетъ есть «жизни податель». Но абсолютная разръшимость, или разръшение въ Абсолютномъ, можетъ означать *относительную неразръшимость*, или отсутствіе рѣ-шенія въ планѣ относительнаго временнаго бытія. «Богъ правду видить, да не скоро скажеть», но Онъ скажеть ее въ концть концовъ.

Б. Вышеславцевъ.